

ЖОРЖ САНД

БАБУШКИНЫ

СКАЗКИ

(СБОРНИК)

Собрание сочинений

Жорж Санд

Бабушкины сказки (сборник)

«Public Domain»

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

Санд Ж.

Бабушкины сказки (сборник) / Ж. Санд — «Public Domain»,
— (Собрание сочинений)

ISBN 978-5-486-03188-5

Жорж Санд (1804–1876) – псевдоним французской писательницы Авроры Дюпен-Дюдеван, чье творчество вдохновлялось искренними идеями борьбы против социальной несправедливости, за свободу и счастье человека. В ее многочисленных романах и повестях идеи освобождения личности (женская эмансипация, сочувствие нравственно и социально униженным) сочетаются с психологическим воссозданием идеально-возвышенных характеров, любовных коллизий. Путеводной нитью в искусстве для Жорж Санд был принцип целесообразности, блага, к которому нужно идти с полным пониманием действительности, с сознанием своей правоты, с самоотречением и самозабвением. В данном томе представлены роскошные, полные чудес и волшебства сказки Жорж Санд, которые она написала для своих внучек: Авроры и Габриэлы.

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-03188-5

© Санд Ж.
© Public Domain

Содержание

Замок Пиктордю	5
Крылья мужества	47
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Жорж Санд

Бабушкины сказки

Замок Пиктордю

Моей внучке

АВРОРЕ САНД

Вопрос в том – существуют ли волшебницы или нет. В твои годы любят чудесное, и я ждала бы, чтоб оно действительно было в природе, которую ты тоже очень любишь.

Полагаю, что чудеса в природе бывают, иначе я не могла бы тебе рассказывать о них.

Остается узнать, где находятся существа, называемые сверхъестественными – духи и волшебницы; где их начало и конец; какую власть имеют они над нами и в чем проявляется влияние их на нас. Многие между взрослыми людьми не знают этого, а потому я хочу заставить их прочитать те сказки, которые я рассказываю, укладывая тебя в постель.

I

Говорящая статуя

То, о чем я расскажу вам, происходило в дикой и далекой стороне, называемой в то время Жеводанской провинцией. Там среди пустыни, лесов и крутых гор стоял одинокий заброшенный замок Пиктордю. Печален, очень печален был его вид, он как будто скучал, точно человек, который, привыкши принимать гостей и задавать пышные праздники, вдруг перед смертью видит себя больным, немощным и всеми покинутым.

Господин Флошарде, знаменитый на юге Франции художник, проезжал в почтовой карете по дороге, идущей вдоль берега маленькой речки. С ним была его единственная восьмилетняя дочь Диана, за которой он ездил в монастырь Визитандин-де-Манд и которую он вез домой, потому что она заболела перемежавшейся через два дня на третий лихорадкой, мучившей ее в продолжение почти что трех месяцев, вероятно, вследствие быстрого роста. Доктор советовал ей родной воздух, и Флошарде ехал с ней в свою хорошенькую виллу, которая находилась в окрестностях Арля.

Выехав из Манда накануне того дня, с которого я начинаю мой рассказ, отец и дочь сделали небольшой круг, чтобы повидаться со своей родственницей. Ночь они должны были провести в Сен-Жан-Гардонанк, который называется теперь Сен-Жаном ди-Гард.

Это происходило задолго до существования железных дорог, тогда, когда во всем подвигались несравненно медленнее, нежели теперь. Пускаясь в путь в экипаже, они могли приехать к себе только на другой день. Ехали они тихо еще и потому, что дорога была отвратительная. Господин Флошарде вышел из коляски и шел рядом с извозчиком.

– Что это такое перед нами? – спросил он его. – Какая-нибудь развалина или просто гряды беловатых скал?

– Что вы, сударь, – ответил извозчик, – да разве вы не узнаете замка Пиктордю?

– Как же я могу узнать, когда я вижу его в первый раз. Я никогда не ездил по этой дороге и уж конечно никогда более по ней не поеду, она ужасна, и мы совсем не подвигаемся вперед.

– Терпение, сударь. Зато эта старая дорога гораздо ближе новой; по новой вам бы пришлось до заката солнца сделать семь лье, а по этой не более двух.

– Но если нам придется ехать по этой кратчайшей дороге пять часов, то я не вижу никакой выгоды.

– Вы, сударь, изволите шутить. Мы не более как через два часа будем в Сен-Жан-Гардонанк.

Господин Флошарде вздохнул, думая о своей маленькой Диане. Это был день приступа лихорадки, и он, выезжая, надеялся, что до заката придет в гостиницу и уложит ее в постель, где она обогреется и отдохнет. Воздух на низменности был сырой, солнце уже закатывалось; он боялся, чтобы она еще более не разболелась, если ей придется во время пароксизма лихорадки провести холодную ночь в карете, трясясь по старой дороге.

– Значит, – сказал он кучеру, – эта дорога совершенно заброшена?

– Да, сударь, эта дорога была сделана для замка, и замок теперь также заброшен.

– А он мне кажется еще таким богатым и обширным. Почему же это там более не живут?

– Потому что настоящий владелец получил его в наследство тогда, когда он разрушался, а для того, чтобы поправить его, у него нет средств. Замок этот во время оно принадлежал богатому барину, который там много делал глупостей, задавал балы, комедии, игры, празднества и тому подобные вещи. Сам он разорился, потомки его не поправились точно так же, как и сам замок, который, хотя и сохраняет величественный вид, но в один прекрасный день обрушится со своей высоты в реку и частью на дорогу, по которой мы теперь едем.

– Лишь бы нам удалось сегодня проехать, а там пусть валится сколько ему будет угодно! Но что у него за такое странное название, Пиктордю?

– Его назвали так по имени вон той горы, видите, которая выходит из-за леса над замком и которая как будто разворочена огнем. Говорят, что в древние времена вся эта местность была выгоревшей. Эти страны назывались вулканическими. Я готов спорить, что вы не видали ничего подобного?

– Напротив, я много видел, только теперь это меня нимало не интересует. Прошу тебя, мой друг, сесть на козлы и ехать как можно скорее.

– Извините, сударь, этого еще нельзя. Мы должны сначала проехать резервуар каскадов парка. Там почти нет воды, но зато есть много мусора, а потому мне нужно осторожнее свести моих лошадей. Не бойтесь за маленькую барышню, опасности нет никакой.

– Может быть, – ответил Флошарде, – но я все-таки лучше возьму ее к себе на руки, ты мне только скажи, когда это нужно будет сделать.

– Да вот, сударь, мы и подъехали, а потому делайте, как вам угодно.

Художник велел остановить карету и взял из нее свою маленькую Диану, которая, почувствовав лихорадочную слабость, заснула.

– Поднимитесь сначала вот на эту лестницу, – сказал ему извозчик, – а потом, перейдя террасу, вы в одно со мной время будете у поворота дороги. – Флошарде вошел на лестницу, неся свою дочь. Несмотря на разрушение, эта лестница была действительно барская, ее балюстрада была, вероятно, прежде очень красивая. В саду, на некотором расстоянии, виднелись еще великолепные статуи. Эта терраса, когда-то выложенная плитами, сделалась теперь приютом диких растений, которые росли между распавшимися камнями вперемежку с несколькими редкими кустами, которые в былое время были посажены отдельно в виде корзины.

Пурпуровая жимолость переплелась с огромными кустами шиповника, между терновником цвел жасмин, над туземными кипарисами и дикими каменными дубами возвышались ливанские кедры, плющ стлался коврами или висел гирляндами, разросшийся на ступенях

клубничник шел арабесками до самых подножий статуй. Эта терраса, поросшая свободными растениями, может быть, не была никогда еще так хороша, как теперь.

Но Флошарде был салонный живописец и не особенно любил природу. Кроме того, роскошь этих разнохарактерных растений во время сумерек затрудняла ходьбу. Он боялся, чтобы шипы не расцарапали прелестного личика его дочери, а потому, проходя, он защищал ее, насколько мог; вдруг через несколько времени внизу террасы послышался раздававшийся по камням стук лошадиных подков, а затем голос извозчика, который о чем-то горевал, потом стонал и, наконец, проклинал, точно с ним случилось какое-нибудь несчастье.

– Ступай, папа, беги скорей, чтобы узнать, что случилось, – сказала Диана своему отцу. – Мне здесь хорошо. Сад этот так нравится мне. Оставь мне только твой плащ, я буду ждать тебя не шевелясь. Вернувшись, ты найдешь меня здесь у подножия вот этой большой вазы. Обо мне, прошу тебя, не беспокойся.

Флошарде закутал ее в свой плащ и побежал посмотреть, что произошло внизу террасы. Сам извозчик был невредим, он, желая перебраться через мусор и разные обломки, опрокинул карету, два колеса которой были совершенно раздроблены; одна из лошадей упала и ранила себе колени. Извозчик был в отчаянии, его стоило пожалеть, но Флошарде не мог удержаться от бесполезного гнева. И его положение было ужасно: что мог он сделать ночью с девочкой, которая была слишком тяжела, чтобы нести ее на расстояние двух лье, то есть трех часов ходьбы? Было невозможно придумать что-нибудь лучше. И он оставил извозчика выпутываться из своей беды одного, а сам ушел отыскивать свою Диану. Но вместо того чтобы найти ее спящей у подножия вазы, как он и ожидал, он увидел ее идущей к нему навстречу, бодрой и почти что веселой.

– Папа, – сказала она ему, остановившись у перил террасы, – я все слышала, и хотя извозчик не сделал себе вреда, но лошади ранены и карета сломалась. Мы не можем ехать сегодня вечером далее, и я, сидя здесь, начала было мучиться твоей тревогой, как вдруг слышу голос дамы, которая назвала меня по имени. Я подняла голову и увидела ее с протянутыми по направлению к замку руками, которыми она, вероятно, приглашала меня туда войти. Пойдем, я уверена, что она будет очень рада и что нам будет у нее хорошо.

– О какой даме ты говоришь мне, мое дитя? Замок этот пустой, и я здесь никого не вижу.

– Ты не видишь этой дамы, вероятно, потому, что теперь уже наступает ночь, но я ее еще отлично вижу. Посмотри, она все еще там и указывает на дверь, через которую мы должны войти к ней.

Флошарде посмотрел по тому направлению, куда показывала ему Диана, он увидел там статую в человеческий рост, изображавшую аллегорическую фигуру, может быть, гостеприимства, которая грациозным и необыкновенно изящным движением как будто указывала приезжающим вход в замок.

– То, что ты принимаешь за даму, не что иное, как статуя, – сказал он своей дочери. – Что же касается того, что она с тобой говорила, то это тебе пригрезилось.

– Нет, отец, мне это не пригрезилось, и нам нужно поступить, как она желает.

Флошарде не хотел противоречить больному ребенку. Он бросил взгляд на богатый фасад замка, который, украшенный ползучими растениями, повисшими у балконов и у каменных лепных украшений, казался еще великолепным и крепким. «И в самом деле, – подумал он, – этот замок, если бы я только мог отыскать в нем, в ожидании лучшего, какой-нибудь уголок, где бы моя девочка могла отдохнуть, может служить нам убежищем». Войдя вместе с Дианой, которая крепко держала его за руку, в роскошный вход с колоннами и идя все прямо вперед, они пришли в просторное отделение, которое имело вид цветника, поросшего дикой мятой, шандрой с беловатыми листьями и окруженного колоннами; некоторые из них валялись на полу, а остальные поддерживали остатки купола, сквозившего в тысяче местах. Развалину эту

Флошарде нашел неудобной и хотел было вернуться назад, как вдруг встретил извозчика, который шел к нему навстречу.

– Следуйте, сударь, за мной, – сказал извозчик Флошарде, – здесь в замке есть павильон, еще довольно крепкий, где вы можете отлично провести ночь.

– Значит, нам непременно нужно провести здесь ночь? Неужели нет возможности дойти если не до города, то хотя бы до какой-нибудь фермы или деревенского дома.

– Невозможно, сударь, точно так же, как нельзя оставить и ваши вещи в карете, которая, как вы видели, не может более служить вам.

– Вынуть мой багаж оттуда нетрудно, его немного, а потому им смело можно навьючить одну из твоих лошадей, на другую сяду я с моей дочерью, а ты, идя возле нас, покажешь нам дорогу к ближайшему жилью.

– Здесь нет никакого жилища, до которого мы могли бы сегодня добраться. Горная дорога слишком дурна, и мои бедные лошади обе зашиблись. Я не знаю, как мы и выберемся отсюда даже среди белого дня. С Божьей милостью! Самое главное, что нам нужно сделать, – это потопиться устроить маленькую барышню. Я вам сейчас найду комнату, где еще сохранились двери и ставни и где потолок не грозит опасностью. Для моих лошадей я также нашел что-то вроде конюшни, и так как у меня есть с собой небольшой мешок овса, а у вас немного провизии, то мы, конечно, сегодня вечером не умрем с голода. Я вам тотчас же принесу из кареты все вещи и подушки, ночь скоро пройдет.

– Делай, как находишь лучше, – сказал Флошарде, – благо ты теперь опомнился. Здесь, вероятно, есть какой-нибудь сторож, которого ты знаешь и который не откажет нам в пристанище.

– Здесь нет никакого сторожа, замок Пиктордю сам себя сторожит... Но об этом я вам расскажу после. Вот мы и у дверей старой залы бань. Я знаю, как она открывается. Проходите, сударь, туда, там нет ни крыс, ни ночных сов, ни змей. Подождите меня там без боязни.

Действительно, разговаривая и проходя по разным отделениям замка, они дошли до какого-то низенького, довольно тяжеловатого павильона в старом стиле. Это было, как и весь замок, здание во вкусе Возрождения, хотя фасад его и представлял прихотливое сочетание разных архитектурных затей. Павильон этот находился посреди запертого в четырех стенах двора и был подражанием в миниатюре древним баням. Внутренность его была довольно хорошо защищена от холода и еще достаточно сохранилась.

Извозчик принес один из каретных фонарей и свечу. Он начал выбивать из кремня огонь, после чего Флошарде убедился, что ночлег действительно возможен. Он сел на тумбу и хотел было взять на колени Диану, пока извозчик сходит за вещами и подушками, но она сказала ему:

– Нет, отец, благодарю, не беспокойся. Я очень рада провести ночь в этом прелестном замке. Я более не больна, пойдем-ка лучше, поможем нашему извозчику переносить вещи, тогда дело пойдет скорее. Я уверена, что ты голоден, что же касается меня, то я думаю, что я с удовольствием буду есть пирожки и фрукты, которые ты для меня положил в маленькую корзиночку.

Флошарде, увидя свою больную девочку такой бодрой, взял ее с собой, и она действительно сумела быть им полезной. Спустя четверть часа подушки, плащи, сундучки, корзины – словом, все, что находилось в карете, было перенесено в залу бань старого замка. Диана не позабыла также и свою куклу, которая во время похождения сломала себе руку. Она хотела было заплакать, но, видя своего отца, у которого также разбилось несколько ценных вещей, нашла в себе настолько мужества, чтобы удержаться от жалоб. Извозчик нашел, чем их обрадовать, объявив, что две бутылки хорошего вина уцелели от опасности, и неся их, он сиял от радости.

– Теперь, – сказал ему Флошарде, – так как ты нашел нам жилище и с такою преданностью служишь нам... скажи, как тебя зовут.

– Романеш, сударь!

– Итак, Романеш, ты будешь с нами ужинать и, если желаешь, то можешь также и спать с нами в этой зале.

– Нет, сударь, я должен вычистить и накормить моих лошадей; но от стакана вина никогда не следует отказываться, да еще после несчастья. Сначала позвольте мне послужить вам. Маленькая барышня хочет, может быть, воды, я знаю, где здесь находится родник, но прежде я хочу приготовить ей постельку; я ведь знаю, как ухаживать за детьми, у меня есть свои!

Говоря таким образом, добрый Романеш расставлял все вещи.

Ужин состоял из холодной дичи, хлеба, ветчины и кое-каких сластей, которые Диана грызла с большим удовольствием.

Не было ни стульев, ни стола; посередине залы находился мраморный фонтан, бассейн которого имел форму небольшого амфитеатра со ступенями, на которых было очень удобно сидеть. Родник, снабжавший в былые времена этот фонтан водой, струился еще и теперь в ограде павильона, наделяя путешественников хорошей водой, которую Диана пила из своего маленького серебряного стаканчика. Флошарде дал Романешу целую бутылку вина и, откупорив другую, предложил ему чокнуться.

Во время еды художник пристально вглядывался в свою дочь. Она была весела и с удовольствием променяла сон на болтовню; но когда она поела, отец предложил ей отдохнуть. Из подушек и плащей в мраморном бассейне, находившемся на краю фонтана, была сделана для нее очень недурная постель.

Приключение это случилось среди лета. Погода стояла чудная, начинала светить луна. Но кроме лунного света их новое помещение освещала еще свеча, так что оно нисколько не было мрачно. Внутренность павильона была разрисована фресками. На потолке в гирляндах были изображены летающие птицы, ловившие бабочек, которые были больше их самих. На стенах, держа одна другую за руки, танцевали хороводом нимфы, которые нельзя сказать, чтоб были целы: у одной недоставало ноги, а у других руки или головы. Протянувшись на импровизированной постельке и держа в своих объятиях куклу, Диана была совершенно спокойна и в ожидании сна рассматривала хромых танцовщиц и, несмотря на вышесказанные недостатки, находила вид их очень праздничным.

II

Дама под покрывалом

В то время, как Романеш, превратившись в лакея, убирал остатки ужина, господин Флошарде, думая, что дочь его заснула, сказал:

– Романеш, объясни же мне, пожалуйста, почему этот замок сам себя сторожит? Ты мне дал давеча понять, что на это существует какая-то особенная причина.

Романеш немного замаялся, но хорошее вино его доброго путешественника развязало ему язык, и он начал следующий рассказ:

– Я уверен, сударь, что вы станете надо мной смеяться. Вы, так называемые ученые люди, ведь не верите в иные вещи.

– Ну, оставь это и говори, мой любезный, я тебя слушаю, хотя, по правде тебе сказать, я и не верю в вещи сверхъестественные, в этом я сознаюсь. А все-таки я очень люблю рассказы о таинственных вещах. Замок этот должен иметь свою легенду, расскажи мне ее, я не буду смеяться.

– Извольте, сударь, я вам расскажу ее. Я уже сказал вам ранее, – начал извозчик, – что замок Пиктордю сам себя сторожит, но это только так говорится. На самом деле его охраняет дама под покрывалом.

– Кто это такая дама под покрывалом?

– А вот этого-то никто и не знает! Одни говорят, что это живая женщина, которая только одевается по старой моде, другие – что это душа умершей принцессы, которая жила в нем много лет тому назад и которая будто бы приходит сюда каждую ночь.

– Так, значит, мы будем иметь удовольствие сегодня видеть ее?

– Нет, вы ее не увидите. Дама эта очень вежлива, она только желает, чтобы к ней входили порядком; она даже сама приглашает проезжающих войти, и если на ее зов они не обращают внимания, тогда она опрокидывает их кареты, сбивает с ног лошадей, а если идут пешком, тогда скатывает на дорогу такое множество камней, что ходьба по ней делается невозможной. Так и сегодня, должно быть, она с высоты башни или террасы приглашала нас войти, потому что говорите, что хотите, а несчастье, которое с нами случилось, совсем неестественное, и если бы вы непременно захотели продолжать путь, то вышло бы еще хуже.

– А! теперь я понимаю, почему ты нашел невозможным сопровождать нас в какое бы то ни было другое место.

– В другом месте и даже в самом городе вам бы было гораздо хуже: там не было бы так чисто, разве только ужин был бы лучше... хотя я нашел его очень хорошим!

– Да, его было совершенно достаточно, и я нисколько не огорчаюсь, что я здесь. Послушай, мне бы хотелось поскорей узнать все, что только относится к даме под покрывалом. Я думаю, что когда к ней являются без приглашения, то она не бывает этим особенно довольна?

– Она не сердится и не показывается, – ответил извозчик, – ее никто не видел, но иногда голос ее слышался, и, если она кричит вам: «Уходите!», тогда волей-неволей вы почувствуете себя обязанным повиноваться, вас что-то невольное, невидимое подвигает вперед, будто сорок пар лошадей тянут вас вон.

– Тогда и с нами может повториться то же самое, потому что она нас не приглашала.

– Извините, сударь, я уверен, что она приглашала нас, но только мы не обратили на это внимания.

Тогда Флошарде вспомнил, что маленькая Диана слышала, будто бы статуя, стоящая на террасе, звала ее.

– Говори тише, – сказал он извозчику, – этот ребенок и без того бредил о чем-то в этом роде, и мне бы не хотелось, чтобы она верила в подобные глупости.

– А! – вскричал простодушно Романеш. – И она слышала!.. Вот видите, сударь, значит это так! Дама под покрывалом обожает детей, и, когда она увидела, что вы не уверовали в ее приглашение, она перевернула карету.

– И испортила твоих лошадей? Это уж совсем не годится для такой гостеприимной особы!

– Если вам сказать истинную правду, сударь, так мои лошади не особенно расшиблись, у них только показалось немного крови, вот и все. Весь свой гнев она обратила на карету, и если нам завтра и не удастся починить ее, то мы найдем другую; вы опоздали всего на несколько часов, потому что все равно хотели провести ночь в Сен-Жан-Гардонанк. Но, может быть, вас где-нибудь ждут и вы боитесь, что будут беспокоиться, если вы не приедете в назначенный день?

– Конечно, – ответил Флошарде, который несколько боялся философской беззаботности доброго извозчика или вторичного исполнения какой-нибудь новой прихоти дамы под покрывалом.

На самом же деле Флошарде никто не ожидал в назначенный день. Жена его не знала даже, что Диана была больна в монастыре и что им придется свидеться раньше каникул.

– Однако, – сказал Флошарде Романешу, – я думаю, что нам время спать. Хочешь спать здесь? Я ничего против этого не имею, если ты найдешь только, что здесь тебе будет удобнее, чем с лошадьми?

– Благодарю, сударь, вы очень добры, – ответил Романеш, – но я только и могу спать с ними. Каждый имеет свои привычки. Вам, вероятно, не будет страшно оставаться здесь вдвоем с вашей маленькой барышней.

– Страшно? Нет, тем более что я не увижу дамы. Кстати, можешь ты мне объяснить, как же могут знать, что она под покрывалом, если никто никогда не видел ее?

– Я уж этого, сударь, не знаю; это старая история, и не я ее выдумал. Сам я верю в нее и не мучаюсь над ней, во-первых, потому что я не трус, а во-вторых – я не сделал ничего такого, что бы могло раздражить духа замка.

– Итак, добрый вечер, добрая ночь, – сказал Флошарде, – смотри, приходи завтра сюда вместе с рассветом, не опоздай; послужи нам поскорей и хорошенько, потом не пожалеешь. Оставшись один, Флошарде подошел к своей дочери и прикоснулся к ее щекам и маленьким ручкам, он был чрезвычайно удивлен и вместе с тем обрадован, найдя их свежими. Потом он пощупал ее пульс, хотя и не понимал хорошенько в детской лихорадке. Диана поцеловала его и сказала:

– Будь покоен, отец, мне очень хорошо. С моей куклой лихорадка, не тревожь ее.

Диана была кроткая и любящая девочка, никогда ни на что не жаловалась. В эту ночь вид ее был такой покойный и веселый, что даже ее отец повеселел.

«С ней тогда был припадок, – подумал он, – она бредила, когда ей казалось, что статуя говорит с ней, но пароксизм был очень короток и, кто знает, может быть, перемены воздуха было совершенно достаточно для ее выздоровления. Может быть, монастырская жизнь ей совершенно не годится, а потому я лучше сделаю, если оставлю ее с нами, моя жена, вероятно, не будет на это в претензии».

Завернувшись, насколько это было возможно, в плащ, Флошарде протянулся на ступеньках фонтана около своей дочери и не замедлил заснуть, как человек, еще молодой и здоровый, каким он и был на самом деле.

Господину Флошарде было не более сорока лет. Он был красив собой, любезен, богат, хорошо воспитан и кроме всего этого очень честный человек. Он зарабатывал много денег, делая портреты очень законченные и очень изящные, которые дамы находили постоянно похожими, потому что они всегда выходили на них приукрашенными и моложавыми. Говоря правду, все портреты его были схожи между собой. Создав для себя раз навсегда очень красивый тип, он и воспроизводил его постоянно, с небольшими изменениями, стараясь между прочим передавать как можно вернее туалет и прически своих моделей. Верная передача этих деталей составляла всю особенность изображаемых им лиц. Он с необыкновенным искусством передавал цвет платья, завиток локона, легкость ленты; некоторые из его портретов узнавались, например, по изумительному сходству подушки или попугая, поставленного подле модели. Но, несмотря на это, он все-таки был не без таланта. У него даже в своем роде было много таланта, но оригинальности гения, понимания настоящей жизни – этого нельзя было и требовать от него, впрочем, это нисколько не мешало ему иметь несомненный успех и быть предпочитаемому модной буржуазией всякому великому мастеру, который бы имел смелость воспроизвести бородавку или заметить морщинку.

После двухлетнего брака с матерью Дианы он овдовел и женился во второй раз на молодой девушке, бедной, но из хорошей семьи, которая считала его самым великим художником в мире – она не была глупа от природы. Но она была такая хорошенькая, такая хорошенькая, что у нее не хватало времени ни размышлять, ни образовывать себя. Оттого-то она и сложила с себя обязанность заниматься воспитанием дочери своего мужа. Она принудила его отдать Диану в монастырь, уверяя, что в этом возрасте и притом единственной дочери Диане будет

гораздо веселее в обществе маленьких подруг, чем одной в доме отца. Она не умела ни играть с девочкой, ни занимать ее, да если бы и умела, то у нее не нашлось бы на это времени. А ей много было нужно для того, чтобы переодеваться по десять раз в день и каждый раз все изящнее и роскошнее. Флошарде был добрый отец и хороший муж. Он находил прекрасным, что госпожа Флошарде была немного легкомысленна, – ведь она, убивая целый день на наряды, делала это для того еще, чтобы нравиться ему, кроме того, она делала это еще и для того, чтобы быть ему полезной – она помогала ему изучать принадлежности дамского туалета, на который он обращал так много внимания в своей живописи.

Засыпая в бане старого жилища, Флошарде думал и о туалетах, и о красоте своей жены, и о своей больной дочери, может быть, уже выздоравливающей; он вспоминал также и о богатых заказчиках, к которым он опоздал, и о несчастье, случившемся с каретой, о странном совпадении фантастического рассказа извозчика с бредом его дочери, и, наконец, о даме под покрывалом, и о потребности крестьян верить в такие сверхъестественные вещи, которые даже не вызывают в них страх. Перебирая в уме все эти разнообразные впечатления, он заснул глубоким сном и даже немного прихрапывал.

Диана также, кажется, спала, хотя я не могу сказать положительно, потому что не знаю наверное. Говоря вам об отце и матери ее, я позволила себе это отступление, потому что не желала подвергать ваше терпение долгому испытанию, а напротив, хочу поскорее познакомить вас с теми причинами, которые сделали эту девочку почти постоянно задумчивой и мечтательной. Диана провела первые годы детства со своей кормилицей, которая боготворила ее, но которая имела привычку мало говорить; девочка должна была сама справляться, как умела, с теми идеями, которые являлись в ее неразумной головке. Следовательно, вы не должны слишком удивляться тому, что я буду вам о ней рассказывать.

Теперь я должна рассказать вам, как ум ее был возбужден и как быстро он работал в замке Пиктордю.

Услышав храпенье своего отца, она открыла глаза и посмотрела вокруг себя. В большой круглой зале было темно, но так как своды ее были не особенно высоки и повешенный на стене каретный фонарь бросал тусклый и дрожащий свет, Диана могла различать одну или двух танцовщиц, сделанных на манер древних нимф; танцовщицы эти находились прямо против нее. Танцовщица, лучше других сохранившаяся и вместе с тем более обиженная, потому что у нее от сырости совершенно пропало лицо, была большого роста женщина, одетая в зеленое платье, которое сохранило еще свою свежесть, ее обнаженные руки были отлично нарисованы, равно как и ноги. Диана во время своего слабого сна, хотя весьма неясно, но все-таки немного слышала разговор извозчика с ее отцом о даме под покрывалом. Она мало-помалу начала думать о том, что это обезглавленное туловище, может быть, имеет что-нибудь близкое с легендой замка.

«Я не понимаю, – думала она про себя, – почему мой папа называет эти вещи глупостью. Я так, напротив, совершенно уверена в том, что эта дама, когда я была на террасе, говорила со мной, я даже помню ее мягкий, милый голос. Я была бы очень довольна, если бы она снова заговорила со мной. Кроме того, если бы я не боялась обеспокоить папу, который считает меня больной, я бы пошла посмотреть, там ли еще она».

Едва успела она об этом подумать, как фонарь, висевший на стене, погас, после чего она увидела промелькнувший по комнате сильный голубоватый свет, как будто бы свет луны; в этом мягком луче света она увидела, как ее древняя танцовщица отделилась от стены и стала подходить к ней.

Не подумайте, что Диана испугалась, нет, это была прелестного вида женщина. С платья ее, грациозными складками лежавшего на ее стане, как будто бы сыпались серебряные звездочки, полы ее легкой туники поддерживались поясом с дорогими камнями, на голове было накинуто блестящее газовое покрывало, из-под которого на белые как снег плечи падали

русые косы; сквозь этот газ нельзя было разглядеть ее лица, но оттуда, где должны находиться глаза, выходили два бледных луча. Обнаженные ноги ее и открытые до плеч руки были совершенством красоты. Мало-помалу эта бледная и неясная нимфа стены сделалась очень милым живым существом.

Она подошла поближе к ребенку и, не касаясь отца, лежавшего близ дочери, наклонилась ко лбу Дианы и поцеловала его. Диана слышала, но не чувствовала легкого прикосновения губ ее. Девочка обвила было ее шею руками, чтобы удержать ее и отплатить ей лаской, но обняла одну тень.

– Вы, верно, сделаны из одного тумана, – сказала она ей, – потому что я вас не чувствую? По крайней мере, поговорите со мной, чтобы я могла узнать, та ли вы дама, которая уже говорила со мной.

– Это была я, – ответила дама, – хочешь идти со мной гулять?

– Я очень хочу, но только ты должна прежде вылечить меня от лихорадки, чтобы успокоить моего отца.

– Не заботься ни о чем, когда ты со мной – тебе нечего бояться. Дай мне твою руку!

Девочка с доверчивостью протянула ей свою руку, и хотя она и не чувствовала руки феи, но ей казалось, что какая-то приятная свежесть разлилась по всему ее существу. Они вместе вышли из залы.

– Куда ты хочешь идти? – спросила дама.

– Куда тебе угодно, – ответила девочка.

– Хочешь вернуться на террасу?

– Хорошо, терраса с ее кустарниками и высокой травой, усеянной маленькими цветочками, мне очень нравится.

– Не хочешь ли ты лучше посмотреть внутренность моего замка, который еще лучше?

– Да он совсем сквозной и разрушенный!

– В этом-то ты и ошибаешься. Он кажется таким только тем, кому я не позволяю его видеть.

– А мне разве ты позволишь его посмотреть?

– Конечно. Смотри!

Развалины, среди которых, как показалось Диане, она была уже, в один миг превратились в прелестную галерею с рельефной позолотой на потолках. Между большими окнами зажглись хрустальные люстры, а в нишах, держа факелы, встали большие фигуры прелестной работы из черного мрамора. Другие статуи, одна из бронзы, другая из белого мрамора или яшмы, роскошной скульптурной работы, некоторые позолоченные, появились на своих подножиях, а мозаичный пол с изображением цветов и птиц, чудно разбросанных, протянулся на бесконечное пространство под ногами маленькой путешественницы.

Вдали слышались звуки музыки, и Диана, которая так любила музыку, начала подпрыгивать и бегать, ожидая увидеть танцующих; она не сомневалась, что фея поведет ее на бал.

– Ты, я вижу, очень любишь танцы, – сказала ей фея.

– Нет, – отвечала она, – я никогда не училась танцевать, у меня слишком слабые ноги, но я люблю смотреть на все красивое, и мне бы хотелось увидеть вас танцующей в хороводе так, как я вас видела нарисованной на стене.

Когда они вошли в большую залу, увешанную сильно освещенными зеркалами, фея скрылась, а Диана в ту же минуту увидела в этих зеркалах целые ряды дам, одетых, как и фея, в зеленые платья и газовые покрывала; все они скользили и вились под звуки невидимого оркестра. Она с удовольствием смотрела на этот хоровод, смотрела до тех пор, пока у нее не устали глаза и ей не показалось, что она засыпает.

Но ее пробудило легкое прикосновение свежей руки феи, после чего она очутилась в другой комнате, более красивой и богатой, чем первая. Посередине этой комнаты находился

золотой, очень хорошей работы стол, загроможденный до самого потолка разного рода лакомствами, необыкновенными фруктами, цветами, пирожными и конфетами.

– Возьми, что тебе нравится, – сказала фея.

– Мне ничего не хочется, – ответила Диана, – разве только немного холодной воды. Мне так жарко, как будто я танцевала.

Фея дунула на нее сквозь свое покрывало, и Диана почувствовала прохладу, и ей не хотелось уже более пить.

– Теперь тебе хорошо; так скажи мне, что ты хочешь видеть.

– Все, что ты сама пожелаешь, чтобы я видела.

– А сама ты разве не можешь решить?

– Покажи мне богов.

Фея не удивилась такой просьбе.

У Дианы была когда-то в руках старая книга о мифологии, с отвратительными рисунками, которые сначала казались ей очень хорошими и которые потом ей наскучили. Теперь, пользуясь случаем, ей хотелось посмотреть что-нибудь получше. Она была уверена, что фея может показать ей красивые картины. И действительно, фея повела ее в залу, где были картины, представлявшие мифологические божества в человеческий рост. Диана посмотрела на них сначала с удивлением, а потом, когда они задвигались, с удовольствием.

– Прикажи им подойти к нам поближе, – сказала она фее. Тогда все эти божества вышли из своих зал и начали ходить вокруг них, потом поднялись вверх, очень высоко, и стали кружиться под потолком, точно птицы, которые догоняют одна другую.

Они кружились так быстро, что Диана не могла более различать их. Ей казалось, что между ними она узнала тех, которые ей так нравились в ее книге, а именно: грациозную Гебу с кубком, гордую Юнону с павлином, миловидного Меркурия с маленькой шапочкой на голове и, наконец, Флору со всеми ее гирляндами. Это движение снова утомило ее.

– Здесь у тебя чересчур жарко, – сказала она фее, – води меня в новый сад.

В один миг они очутились на террасе, но она не была больше той разрушенной и одичавшей террасой, по которой она так недавно проходила, направляясь к замку. Теперь это был цветник с дорожками, посыпанными песком и маленькими разноцветными камешками, имеющими вид мозаики. Вокруг были насажены цветы клумбами, которые своими рисунками, составленными из тысяч цветов, напоминали дорогой ковер. Поставленные на свои подножия статуи пели в честь луны хвалебные гимны. Диана желала видеть богиню, в честь которой ей было дано имя. Богиня эта не заставила себя ждать, она появилась на небе в форме серебряного облака. Она была очень, очень велика и держала в руке блестящий лук. По временам она делалась маленькой до того, что ее можно было принять за ласточку, потом она подвигалась ближе и делалась снова большой. Диана следовала за ней глазами, потом сказала фее:

– Теперь мне бы хотелось тебя поцеловать.

– Значит, ты захотела спать? – сказала фея, взяв ее снова в свои объятия. – Так спи, но когда ты проснешься, смотри, не забывай того, что я тебе показывала.

Диана крепко заснула и потом, когда она открыла глаза, увидела себя лежащей в мраморном бассейне, она держала в своей руке маленькую руку куклы. Голубоватая заря заступила место бледной луны. Господин Флошарде встал и, открыв свой дорожный несессер, начал потихонечку бриться, потому что в то время светский человек, несмотря ни на какие условия, в которых он находился, покраснел бы от стыда, если бы не брился каждое утро.

III

Маленькая Пиктордю

Диана встала, надела свои башмаки, которые она сняла, когда ложилась спать, застегнула крючки у своего платья и потом попросила у отца зеркало, чтобы немного причесаться, пока он с Романешем будет все готовить к отъезду. Флошарде, зная ее аккуратность, оставил ее одну, впрочем предупредил, что если она захочет выйти, то чтоб она смотрела себе под ноги, проходя по развалинам замка.

Диана покончила со своим туалетом, убрала все вещи в несессер и, видя, что отец не возвращается, пошла бродить по замку, думая отыскать все те прекрасные вещи, которые она видела вместе с феей во время своего ночного путешествия, но она не нашла даже и признаков того, что видела. Спиральные лестницы были изломаны, или их ступеньки вертелись на шпильках, не находя точки опоры в стенах разрушенных башен. Залы верхнего этажа обрушились друг на друга, так что нельзя было понять распределения комнат. Видно было только, что все здание было богато отделано, некоторые перегородки и стены сохраняли еще следы живописи; на мраморных обломках виднелась позолота, среди разгрома у некоторых стен еще держались великолепные каминные, на полу валялись разного рода обломки: кусочки разноцветных стекол от оконных рам блестели как искорки на зелени диких растений; там и сям валялись маленькие мраморные ручки, когда-то принадлежавшие, вероятно, купидонам, или бронзовые позолоченные крылышки зефиров, отпавшие от какого-нибудь канделябра; между всем этим попадались обрывки обоев, съеденных мышами, но на которых еще можно было различить бледное лицо королевы или вазу, наполненную цветами, одним словом, здесь можно было видеть всю княжескую роскошь, превращенную в лохмотья, весь мир богатства и веселья, обратившийся в прах.

Диане казалось странным такое полное запущение замка, тем более что фасад его еще гордо поднимался около оврага. «Вероятно, – думала она, – то, что я теперь вижу, только грезы. Мне говорили, что когда со мной лихорадка, то я брежу. Вот сегодня ночью, например, со мной не было лихорадки, и тогда я видела вещи, как они должны быть. Теперь я, положим, не чувствую себя больной, но фея сказала мне, что можно видеть замок только тогда, когда она позволяет, и я должна довольствоваться и тем, каким она мне его показывает в эту минуту».

Проискав напрасно красивые комнаты, большие галереи, картины, статуи, золотой стол, заставленный конфетами, одним словом, все те чудеса, среди которых она провела ночь, Диана ушла в сад, где и нашла одну только крапиву, терновник, царский скипетр и златоцветник. Я не знаю, показалось ли ей, что растения эти были несколько не хуже тех, которые она видела ночью, равно как и цветники, хотя они были лишены симметричных рисунков и цветных камней, остатки которых она нашла, ища землянику в траве, – одним словом, все это нравилось ей в том виде, в каком оно было теперь. Между мозаиками она подняла несколько обломков и положила их себе в карман, потом, перейдя к краю террасы, начала искать среди пустого кустарника ту статую, которая накануне говорила с ней. Диана нашла ее с теми же протянутыми руками по направлению к входу в замок, но она не говорила более. Да каким образом она могла говорить? У нее не было не только рта, но и вообще лица. У нее был цел один только затылок с небольшим кусочком драпировки, брошенной не ее каменные волосы. Другие статуи были еще более разрушены как временем, так и камнями, которыми бросали в них для забавы глупые дети. Человек более развитой, чем Диана, понял бы, что эти статуи, стоящие среди пустынных развалин, могли пугать прохожих и что умные люди, желая сохранить их, рассказывали, а невежды верили им, что замок этот сторожит дама без лица, которая манит к

себе людей, неспособных сделать вреда, и наказывает неучей, которые dokonчили бы это разрушение. Несколько несчастий, случившихся внизу террасы, где проезд между большой стеной и маленькой речкой был действительно очень труден, распространили всюду веру в духа, охраняющего развалины, и никто более не смел ни ломать, ни трогать их; но печальное состояние других статуй свидетельствовало о тех оскорблениях, которым они подвергались в прошлом. У всех них чего-нибудь не доставало: у иных одной или обеих рук, другие же, сбитые с подножий, лежали во всю длину в фиолетовом чертополохе или желтом диком льне.

Рассматривая с вниманием ту, которая говорила с ней, Диане показалось, что она узнала в ней портрет своей любезной феи и в то же время ту танцовщицу, которая была нарисована в зале, где она спала. Она могла воображать себе все, что хотела насчет обеих, потому что все эти божества во вкусе Возрождения и вместе с тем подражания древним имеют в формах, а также и костюмах семейное сходство; по прихоти случая, у обеих не доставало лица, а потому идея маленькой Дианы, если и не была совсем верной, то, по крайней мере, очень остроумной. Устав ходить, она пошла навстречу своему отцу и нашла его внизу террасы, торопившего починку кареты.

Романеш достал поблизости кого-то вроде каретника, доброго мужика, не слишком неловкого, но не особенно расторопного, быть может, потому, что у него не было достаточно инструментов.

– Нужно немножко потерпеть, моя маленькая барышня, – сказал ей Романеш, – я нашел для вас черный хлеб, который не очень дурен, свежие сливки и вишни. Все это я отнес в вашу большую комнату. Вернитесь-ка да покушайте, это вас немножко рассеет.

– Хотя мне совсем не скучно, – ответила Диана, – но я все-таки пойду поем. Благодарю вас за вашу заботу обо мне.

– Ну, как ты себя сегодня чувствуешь? – спросил ее отец. – Как ты провела ночь?

– Я, папа, мало спала, но мне было очень весело.

– Весело во сне! Ты хочешь, вероятно, сказать, что ты видела хороший сон? Так что же, это хороший знак! Иди, кушай.

Провожая дочь глазами, Флошарде удивлялся хорошему характеру этого бледного и слабого ребенка, которому все нравилось и который не только никого не беспокоил своей болезнью, а, напротив, при всяких обстоятельствах казался спокойным и веселым.

«Я не понимаю, – думал он, – почему моя жена непременно хотела удалить ее из дома, где она не делала никакого шума и была всем довольна. Я знаю, что моя сестра, монахиня в Визитандин-де-Ланд, очень добра к ней, но моя жена должна бы была еще более лелеять ее».

Диана вернулась в залу бань, и так как она умела читать, то заметила надпись, наполовину стертую. Эта надпись была вырезана над дверью бань. Ей удалось разобрать ее и прочесть: «Баня Дианы».

– Вот как! – сказала она сама себе, смеясь. – Значит, я у себя дома. Как бы мне хотелось выкупаться, жаль, что нет более воды и я должна довольствоваться только тем, что могу здесь завтракать и спать.

Кончив закуску, которую Романеш поставил для нее на край стены бассейна, и найдя ее превкусной, Диана захотела рисовать.

Вы, конечно легко поймете, что рисовать она не умела; отец ее никогда не давал ей уроков; он довольствовался тем, что снабжал ее карандашами и бумагой в таком количестве, какое она хотела иметь, после чего она садилась в угол его мастерской и рисовала там разные детские каракули, копируя в то же время и портреты, которые делал ее отец. Он находил рисунки ее очень странными и от души смеялся над ними, но он и не думал, что у нее есть хотя какое-нибудь призвание к живописи, а потому и решил не принуждать ее следовать его карьере.

В монастыре, где Диана провела целый год, рисованию не учили; в то время обучались искусству только тогда, когда им нужно было зарабатывать себе хлеб, а так как Флошарде был

богатым человеком, то и думал сделать из своей дочери настоящую барышню или, говоря другим языком, хорошенькую особу, умеющую со вкусом одеваться и свободно болтать, не ломая себе головы над другими посторонними вещами. Диана со страстью любила живопись и никогда, видя картину, статую или образ, не проходила мимо, не сосредоточив на них все свое внимание. В церкви монастыря были кое-какие статуэтки святых, а также и незатейливая живопись, которая ей более или менее нравилась. Не знаю почему, рассматривая фрески бани Дианы в замке Пиктордю и вспоминая немного смутно все то, что она видела в продолжение ночи вместе с феей, она убедилась, что образа монастыря ничего не стоят в художественном отношении и что то, что у нее теперь перед глазами, действительно очень хорошо.

Она вспомнила, что, укладывая свой чемодан, отец ее положил в него два альбома и сказал: «Вот этот маленький назначен для тебя, Диана, если у тебя не прошла еще охота марать бумагу». Теперь она отыскала этот альбом и, очинив своим маленьким ножичком карандаш, принялась копировать нимфу в зеленом платье, которую утреннее солнце освещало своим ярким лучом; рисуя, она заметила, что эта фигура совсем не танцевала, а только величественно проходила, отмечая ритм музыки легким шагом, но не была в беспрестанном движении, как другая; ее обе ноги спокойно стояли на облаке, которое несло ее, и руки, сплетенные с руками сестер ее, тоже не делали никаких усилий, чтобы ускорить движение хора.

«Это, может быть, муза», – подумала Диана, которая не позабыла еще мифологии, несмотря на то что все эти басни были совершенно изгнаны из монастыря. Размышляя о мифологии, Диана продолжала рисовать; недовольная первым рисунком, она делала другой, не удавался другой – третий и так далее, пока не изрисовала до половины своего альбома. Но и после этого она не была еще довольна и продолжала бы дальше, если бы не почувствовала прикосновения чьей-то маленькой руки к своему плечу.

Быстро обернувшись, Диана увидела позади себя девочку лет десяти, очень бедно одетую, но хорошенькую и прекрасно сложенную. Девочка эта, смотря на рисунок ее, сказала ей с насмешливым видом:

– А! Да вы занимаетесь рисованием разных головок на книгах, не правда ли?

– Да, – ответила Диана, – а вы?

– Я, нет, никогда! Отец мне это запрещает, и я не порчу его книг.

– А мой отец дал мне этот альбом, чтобы занять меня, – отвечала Диана.

– В самом деле? Значит, он очень богат?

– Богат? Я, право, не знаю!

– Вы не знаете, что значит быть богатым?

– Да, не особенно много, я никогда об этом не думала.

– Потому что вы богаты, я же очень хорошо знаю, что значит быть бедным.

– Вы бедны... а у меня ничего нет, чтобы дать вам, но я попрошу у моего отца...

– А! Значит, вы меня принимаете за нищую? Вы не особенно вежливы. Вы думаете это, верно, потому, что на мне надето ситцевое платье, а на вас шелковая юбка? Так знайте же, что я стою неизмеримо выше вас. Вы ни больше ни меньше как дочь художника, а я девица Пиктордю.

– Откуда вы можете меня знать? – спросила ее Диана, несколько не ослепленная этим отличием, в котором она ничего не понимала.

– Я сейчас только видела вашего отца, он разговаривал с моим отцом на дворе моего замка. Я знаю также, что вы провели здесь ночь; ваш отец просил у моего отца за это извинение, и мой отец как настоящий аристократ пригласил его прийти к нам в дом, который устроен лучше, чем этот покинутый замок. Я это говорю вам для того, чтобы предупредить вас, что вы сегодня обедаете с нами в нашем новом доме.

– Я буду там, где пожелает мой отец, – ответила Диана, – но мне бы хотелось знать, почему вы говорите, что этот замок покинут. Мне кажется, что он очень хорош и что вы только не знаете всего того, что в нем находится.

– В нем находятся, – сказала маленькая Пиктордю с грустным, но величественным видом, – змеи, летучие мыши и крапива. Вы над этим смеетесь. Я знаю, что мы потеряли богатства наших предков и теперь принуждены жить в деревне, как простые деревенские дворяне. Но мой отец сказал мне, что это нисколько не унижает нашего достоинства, потому что никто не в силах сделать, чтобы мы не были более настоящими Пиктордю.

Диана все менее и менее понимала язык этой барышни. Она спросила ее очень просто-душно, не дочь ли она дамы под покрывалом.

Этот вопрос, по-видимому, очень раздражил молодую владительницу замка.

– Поймите раз и навсегда, – ответила она сухо, – что дама под покрывалом не существует и что только одни невежды и дураки могут верить подобным глупостям. Я не дочь привидения – моя мать и мой отец принадлежали оба к хорошей фамилии.

Диана, чувствуя, что она слишком мало знает, чтобы отвечать, промолчала; пришедший отец сказал ей, чтобы она готовилась к отъезду. Карета была починена. Маркиз Пиктордю настаивал, чтобы художник пообедал с ними. В то время обедали в двенадцать часов. Новый дом маркиза находился у выхода оврага, на дороге де-Сен-Жан-Гордонанк. Время от времени маркиз приходил прогуливаться на развалины жилища своих предков, но в этот день он пришел совершенно случайно и, увидя Флошарде с дочерью, он отнесся любезно и гостеприимно к путешественникам, попавшим в его замок по воле случая. Флошарде сказал потихоньку Диане, чтобы она, прежде чем запереть сундук, достала бы себе из него другое платье, но Диана, несмотря на свое простодушие, имела много такта; она хорошо видела, что Бланш Пиктордю завидовала даже и простенькому дорожному платью, а потому не хотела усиливать досаду ее, переодевшись в другой лучший наряд. Она просила своего отца позволить ей остаться так, как она была; она даже сняла со своей шеи и положила наскоро в карман свою маленькую бирюзовую брошку, которая была приколотая к бархотке. Когда все в карете было уложено, маркиз и его дочь, пришедшие сюда пешком, сели в нее вместе с Дианой и Флошарде и немного спустя были уже у подъезда своего нового дома. То была небольшая ферма с голубятней, носившей фамильный герб, и с господскими комнатами самого скромного вида. Маркиз был очень хороший человек, правда, весьма ограниченный и малообразованный, но зато хорошо воспитанный, очень гостеприимный и набожный; но, несмотря на все это, он не мог примириться с мыслью быть последним из сеньоров своей провинции, он, который по своему рождению считал себя выше восьми важных баронов Жеводанской провинции. Он не чувствовал злобы против кого бы то ни было и находил должным и справедливым, чтобы художник обогащался своим трудом. К Флошарде, о котором он, вероятно, слышал еще ранее, он относился с большим уважением и оказал ему радушный прием; но вместе с тем он не мог удержаться от извинений, которые он повторял на каждом шагу насчет отсутствия в его доме роскоши.

– Что делать, – прибавлял он, – в этом мире разрушения дворянство без денег не ставится ни во что. – По характеру своему он не был угрюмым, но он скучал без развлечений. Он дурно делал, что говорил таким образом о своем положении при дочери. Маленькая Бланш и без того была от природы надменной и завистливой. Характер ее и теперь уже был озлоблен, а это было очень жаль, потому что она могла бы быть очень милой девочкой, такой же счастливой, как и другие, если бы она могла примириться со своим положением. Ее отец был очень добр к ней, к тому же она имела все необходимое, ей недоставало только роскоши.

Обед был весьма хороший, его подавала и готовила здоровая крестьянка, бывшая кормилица Бланш; она была их единственной прислугой. Во время обеда разговор шел о многих вещах, которые совершенно не интересовали Диану; но когда он перешел на старый замок,

который она только что оставила с живым сожалением, хотя не смела выказать его, она насто-рожила уши, как только могла.

Ее отец говорил маркизу:

– Я удивляюсь вам, когда вы мне жалуетесь на затруднительное положение ваших дел и на то запустение, в котором вы оставили те образцы древнего искусства, тогда как вы могли бы извлечь из них выгоду.

– Разве есть действительно в моем замке образцы древнего искусства? – спросил маркиз.

– Нет сомнения, что они были, пока не обрушились все крыши замка. Я сужу об этом по остаткам, которые, спасенные вовремя, могли бы быть отосланы в Италию, где до сих пор еще сохранился вкус к таким древностям.

– Да, – отвечал маркиз, – имей я кое-какие деньги, я бы действительно мог еще что-нибудь спасти, это я знаю; но этих-то кое-каких денег у меня и не было, сначала нужно было бы выписать мастера, который сделал бы всему оценку и выбор, а потом, считайте, укладку, перевозку, кроме того, нужно было иметь еще надежного человека, который мог бы присутствовать при перевозке. Вы понимаете, что я лично не мог исправлять ремесло купца!

– Не было у вас никого в соседстве, кто бы мог приобрести кое-какие обои и статуи?

– Никого. Богачи нашего времени пренебрегают древностью. Они следуют моде, а теперь в моде китайские вещи, вещи из раковин и напудренные пастушки; нимф и муз более не любят. Теперь нужно как можно больше напутанного, богатого, тяжелых украшений... Таково, вероятно, и ваше мнение?

– Я никогда не порицаю моды, – ответил художник, – и уже по своему положению состою ее слепым и покорнейшим слугою, но мода меняется, и кто может поручиться, что она вскоре не полюбит всего того, что относится к старому стилю времен Валуа. И если вы сохраните еще кое-какие остатки из украшений вашего замка, то поберегите их; может прийти время, когда они будут иметь свою цену.

– Я ничего не мог сохранить, – ответил маркиз, – когда я только что родился, отец мой оставил все разрушаться из гордости и злобного отчаяния и выехал из замка только тогда, когда он грозил обрушиться ему на голову. Покорившись судьбе и повинувшись воле неба, я переехал на житье в эту ферму – единственное достояние, которое у меня осталось от громадного имения.

Диана старалась понять все, что она слышала, и когда поняла, то почувствовала угрызение совести. Недолго думая, она вынула из своего кармана горсть маленьких разноцветных камешков, которые она набрала в цветнике, и, передавая их Флошарде, сказала:

– Папа, эти камешки я взяла в саду замка. Я думала, что они были совершенно обыкновенные; но раз ты сказал, что маркиз дурно сделал, что не позаботился сохранить свои вещи от уничтожения, то нужно их возвратить ему; они принадлежат маркизу, и я совсем не имела намерения отнимать их у него.

Маркиз был тронут милым поступком Дианы и, возвращая ребенку мозаики, сказал:

– Прошу вас сохранить их на память о нас. Я сожалею, моя милая, что эти стеклянные осколки и мраморные куски не имеют никакой цены. Я бы хотел предложить вам что-нибудь получше. – Диана отказывалась от игрушек, которые ей были так мило предложены.

Вынимая поспешно все, что находилось у нее в кармане, она вынула также свою маленькую бирюзовую брошку; взяв ее в руки, она пристально посмотрела сначала на своего отца, потом показала ему глазами на маленькую Бланш, которая, по-видимому, горела желанием взять брошку. Флошарде понял намерение своей дочери и, отдавая брошку маленькой Пиктордо, сказал:

– Диана просит вас принять взамен ваших хорошеньких камешков вот эти граненые для того, чтобы вы имели что-нибудь друг от друга на память.

Бланш покраснела до самых ушей. Она была слишком горда, чтобы принять так просто, но желание иметь эту хорошенькую бирюзовую вещицу заставляло биться ее сердце.

– Вы сделаете большую неприятность моей дочери, если откажетесь взять ее, – сказал Флошарде.

Бланш как-то судорожно схватила брошку и, почти что вырвав ее из рук художника, выбежала, даже не поблагодарив его, до того она боялась, что отец заставит ее отказаться, что он, вероятно бы, и сделал, если бы был уверен, что его послушают; но, зная характер своей дочери, он не хотел, чтобы его гости сделались свидетелями неприятной сцены. Он просил Флошарде извинить грубые манеры этой маленькой дикарки и сам поблагодарил его вместо нее.

По окончании обеда Флошарде, который хотел ехать остальную часть дня, простился с маркизом, приглашая его, если ему случится когда-нибудь быть на юге, не лишить его своего посещения. Маркиз поблагодарил его за те приятные минуты, которые он доставил ему своим присутствием, после чего они пожали друг другу руки. Бланш по приказанию своего отца очень неохотно и холодно поцеловала Диану. Она уже успела надеть на шею бирюзовую брошку и придерживала ее рукой, – как бы боясь, чтобы ее не взяли назад. Диана нашла Бланш очень глупой, и она ей это прощала ради доброго маркиза, который распорядился наполнить находящиеся в карете корзины самыми лучшими пирожками и фруктами, какие только у него были.

IV

Маленький Бахус

Остальная часть путешествия прошла без приключений. Когда Флошарде передавал свою дочь мачехе ее, у Дианы не было больше лихорадки, и цвет лица ее был почти так же хорош, как прежде. Флошарде сказал своей жене:

– Я привез вам ее, потому что она была больна. Мне кажется, что она теперь совершенно поправилась, хотя нужно следить, чтобы лихорадка снова не вернулась.

Диана была так рада, что она наконец среди своих родных, что несколько дней была в каком-то опьянении от радости. Госпожа Флошарде сначала была очень довольна присутствием падчерицы и занималась ей; госпоже Флошарде казалось даже, что она очень любит Диану. Она сделала ей тысячу маленьких подарков и забавлялась ей, как красивой куклой. Диана, в свою очередь, позволяла ей завивать себя, наряжать и не высказывала ни малейшего нетерпения во время, которое было посвящено туалету; но, не отдавая себе в том отчета, она сильно скучала оттого, что ей приходится тратить столько времени на свою особу; она сдерживала зевоту и бледнела, когда ей нужно было стоять перед зеркалом и примерять разные тряпки. Сама она не могла принарядиться по вкусу своей мачехи, и, когда она одевалась просто, по-своему, та кричала на нее и бранила ее, как будто она сделала какой-нибудь большой проступок. Ей хотелось чем-нибудь заняться, чему-нибудь выучиться, она задавала много вопросов, но госпожа Флошарде находила их или глупыми, или совсем неуместными и считала даже бесполезным удовлетворять любопытство насчет серьезных вещей, которые, по ее мнению, Диане совсем не нужно было знать. Диана скрывала от своей мачехи, что у нее было такое сильное желание учиться рисовать. Госпожа Лора Флошарде не могла дождаться того времени, когда муж ее составит себе состояние и в доме не будут более говорить о живописи, и она будет иметь средства сделаться важной дамой.

Диана начала серьезно скучать и жалеть о монастыре, который она совсем не любила; но там у нее были, по крайней мере, определенные часы занятий.

Она снова побледнела, сделалась вялой, лихорадка стала снова появляться через день, перед закатом солнца, и продолжалась до утра.

Тогда госпожа Лора очень обеспокоилась и стала по совету разных приезжающих модных барынь мучить Диану приемами всевозможных лекарств. Каждый день появлялись новые средства для лечения лихорадки, но так как ни одно из них не употреблялось серьезно и постоянно, то ничто и не помогало. Девочка с кротостью подчинялась всему, в то же время старалась всеми силами убедить своих родных, что она совершенно здорова.

Господин Флошарде, хотя менее волновался, но огорчался гораздо более, чем его жена. Обязанный проводить целый день за работой, по вечерам он сидел у кровати своей дочери и, слушая ее бред, боялся, чтобы она не сошла с ума.

К счастью, у Флошарде был друг, хороший старый доктор, который мог лучше понять происходящее. Он хорошо знал госпожу Флошарде и заметил ее обращение с ребенком. Однажды он сказал Флошарде:

– Нужно оставить этого ребенка в покое, выбросить все пузырьки и пилюли и давать ей только то, что прикажу я; кроме того, ей не нужно ни в чем противоречить – все привычки ее весьма разумны. Разве вы не замечаете, что праздность, на которую ее обрекают, думая, что занятия ей вредны, делает ее еще более больной. Она скучает, дайте же ей самой найти себе занятие, и когда она на чем-нибудь остановится, то не мешайте ей заниматься, а только помогайте ей. Главное, не делайте из нее куклы для примеривания платьев, это не доставляет ей никакого удовольствия, а только утомляет ее. Пусть ее стан и волосы останутся совершенно свободными, и если госпоже Флошарде неприятно видеть ее такой, то постарайтесь, чтобы она забыла о ней и занялась бы чем-нибудь другим.

Господин Флошарде понял, в чем дело, и, зная, как трудно убедить госпожу Лору, начал советовать ей рассеяться. Он уверял ее, что ребенок вовсе не болен серьезно, а потому и предложил ей снова возвратиться к своей обычной жизни визитов, прогулок, городских обедов, балов и вечеров.

Ему не стоило большого труда получить на это ее согласие. Диана сделалась свободной, и ее кормилица, назначенная ходить за ней и сопровождать ее всюду, не противоречила ей ни в чем, как это она делала и всегда.

Тогда Диана спросила снова и получила позволение быть в мастерской отца в то время, когда он работал; сидя там, в своем уголке, она смотрела то на полотно, то на модель, но не пробовала уже более рисовать каракули, вероятно, чтобы не дать повода смеяться над собой. Она поняла теперь, что живопись есть искусство и, прежде чем его узнать, нужно изучить его.

Ее желание учиться было так сильно, что оно сделалось ее постоянной мыслью, но она более не говорила о нем; она боялась, что отец скажет ей, как и в прошлый раз, что она неспособна на это, и что ее мачеха также, со своей стороны, воспротивится желанию ее.

Господин Флошарде, однако, не противоречил ей, а господин Ферон, старый доктор, советуя подмечать ее стремления, ждал, чтобы она снова выказала свою склонность делать портреты, и заранее приготовил для нее запас карандашей и бумаги. Диана не пользовалась ими, она только смотрела на произведения и картоны своего отца и мечтала. Она часто думала о замке Пиктордю, и так как при ней иногда говорили о той развалине, где господин Флошарде поневоле провел ночь, то она не смела более и думать о всем том, что фея под покрывалом показывала ей. Она сожалела, что видела ее так смутно, вероятно, вследствие своего лихорадочного состояния, и желала, если это был сон, то чтобы он снова повторился. Но нельзя грезить о том, о чем пожелаешь грезить, и муза бань Дианы не приходила звать ее.

Однажды, просматривая свои игрушки и приводя их в порядок, она нашла между ними маленькие камешки и остатки мозаики, которые она подняла в цветнике Пиктордю.

Между ними был какой-то камешек, облепленный со всех сторон песком; он был величиной с орех, она подняла его для того, чтобы сделать шарик. Но когда она в первый раз попробовала его пустить в дело и бросила оземь, она увидела, что песок отскочил от него и что он сделался настоящим мраморным шариком. Шарик этот не был совершенно круглым: он

был скорее овальным, и на нем видны были впадины и выпуклости. Диана осмотрела его со всех сторон и увидела, что это была маленькая головка от статуэтки, изображавшей ребенка; головка эта показалась ей такой хорошенькой, что она не могла от нее оторвать глаз; она поворачивала ее в разные стороны, ставила то на свет, то в полусвет, думая отыскать в ней еще какую-нибудь новую красоту.

В эту минуту доктор тихо вошел в ее комнату и, увидя ее поглощенной созерцанием этой головки, спросил самым дружеским голосом:

– На что это ты смотришь с таким удивлением, моя милая Диана?

– Я не знаю, – ответила она, покраснев, – посмотрите сами, мой добрый друг, мне кажется, что это маленькая головка купидона.

– А мне кажется, что она скорее принадлежит молодому Бахусу, потому что в его волосах есть виноградная ветка; где это ты нашла ее?

– В песке и в камешках в том старом замке, о котором не далее как вчера вам говорил мой отец.

– Покажи-ка мне! – начал снова доктор, надевая свои очки. – Ну что же, это очень миленькая вещица! Она старинная.

– То есть такая, которая теперь не в моде. Мама Лора говорит, что все, что старинное, – скверно.

– Я же думаю совсем напротив, по-моему, все, что ново, то дурно.

В эту минуту вошел господин Флошарде. Он окончил сеанс портрета и, прежде чем начать другой, пришел позвать доктору руку и спросить его, как он находит девочку.

– Я ее нахожу в очень хорошем состоянии, она даже разумнее вас, потому что она восхищается этим обломком древней статуэтки, на которую вы бы, конечно, так не залюбовались.

После объяснения, каким образом эта статуэтка попала в руки Дианы, Флошарде посмотрел на нее с совершенным равнодушием и потом бросил ее на стол, сказав:

– Она несколько не лучше других вещей того же времени, если ее только можно отнести к древнему искусству. Я не берусь судить так, как вы, который имеет какую-то манию к подобным обломкам. Я не отрицаю вашего знания и вашей учености, милый доктор, но эти обломки до того стары, до того утратили свою форму, что вы, я думаю, смотрите на них скорее глазами веры. Я, признаюсь вам, не могу так восхищаться, и все эти предполагаемые образцовые произведения греческого и римского искусства производят на меня иногда впечатление кукол Дианы, когда у них изломан нос и выломаны щеки.

– Невежда! – сказал, рассердясь, доктор. – Как вы можете делать такие сравнения!.. А! да вы просто легкомысленный артист! Вы понимаете только лишь в кружевах да муфтах, а до того, что живет, вам нет никакого дела.

Флошарде привык к вспышкам доктора, он принимал их шутя, и, когда слуга пришел известить его, что карета маркизы де Се-Пуант въехала во двор, он вышел, продолжая смеяться.

– Вы сердиты сегодня, мой добрый друг, – сказала сконфуженная Диана доктору, – мой отец хороший художник, это говорят все.

– Потому-то он и не должен говорить глупостей, – ответил доктор, все еще раздосадованный.

– То, что он говорил, была неправда, он сказал это ради шутки.

– Вероятно. Оставим это, но ты... послушай, сама ты находишь эту головку хорошенькой, не правда ли?

– О! Она мне очень нравится!

– Знаешь почему?

– Нет.

– Отгадай.

- Потому что она смеется и имеет веселый и детский вид, точно настоящий ребенок.
- Между тем это образ бога?
- Вы сами сказали, что это бог виноделия.
- Значит, это не такой ребенок, как все другие? Тот, кто его сделал, вероятно, думал, что он должен быть крепче и сильнее любого другого ребенка. Посмотри на эту связку шеи, на крепость и красоту затылка, на эти несколько грубые волосы, падающие на низкий, широкий, но вместе с тем благородной формы лоб. Но я говорю тебе слишком много – ты этого не можешь еще понять.
- Продолжайте, мой добрый друг, я, может быть, пойму!
- Напряженное внимание не утомляет тебя?
- Напротив, это дает мне отдых.
- Ну хорошо: во-первых, ты должна знать, что греческие художники обладали пониманием великого и это чувство они влагали даже в самые мелкие работы. Я не знаю, помнишь ли ты мою маленькую коллекцию статуэток?
- Разумеется, очень хорошо помню, равно как и те коллекции, еще лучшие, которые находятся в городе. Но мне никогда никто ничего не объяснял.
- Когда-нибудь ты придешь ко мне на целое утро, тогда я постараюсь объяснить тебе, каким образом самыми простыми средствами и формами, едва намеченными, эти мастера создавали все великое и прекрасное. Ты у меня увидишь также римские бюсты более близкой нам эпохи. Римляне тоже были великие артисты, хотя менее благородные, менее строгие, чем греки, но, верные правде жизни, они чувствовали ее везде, где она действительно была.
- Здесь я немного понимаю, – сказала со вздохом Диана, – и мне бы очень хотелось знать, что вы называете жизнью?
- Это очень просто. Например, как ты думаешь: твое платье, твой башмак, твой гребень – живые это предметы или нет?
- Конечно нет.
- Ну, а мой взгляд, моя улыбка, эта глубокая морщина на моем лбу, что это – мертвые?
- Конечно, нет.
- Хорошо. Поэтому, когда ты видишь изображенного на картине или в статуе человека, лицо которого не живет, то будь уверена, что они не лучше твоей куклы, и все хорошо выполненные детали его платья или его вещей не помогут сделать того, чтобы он казался живым. Вот, например, эта головка без туловища, которую ты держишь теперь в руках, она очень стара, а между тем она живет, потому что тот, кто ее высекал из мрамора, имел сильную волю и талант, чтобы заставить ее жить. Понимаешь теперь меня?
- Я думаю, что немного понимаю, но расскажите еще.
- Нет, на сегодняшний день довольно. Мы поговорим с тобой об этом в другой раз; смотри только не потеряй...
- Мою маленькую головку? О! Будьте покойны. Я ее слишком люблю. Она мне досталась от кого-то, кого я никогда не забуду.
- От кого это?
- От дамы, которая... от дамы, которую... но я... я не могу вам этого сказать!
- У тебя есть секреты?
- Да. Я не могу сказать!
- Мне, твоему старому другу?
- Вы будете надо мной смеяться?
- Клянусь, что нет.
- Вы скажете, что это была лихорадка.
- А если даже я это и скажу?
- Мне будет это неприятно.

– Тогда я не скажу. Расскажи.

И Диана передала ему все свои видения и все превращения в замке Пиктордю; доктор слушал ее весьма серьезно и не выказывал ни малейшего сомнения, напротив, своими вопросами он помогал ей привести на память все виденное, для того чтобы лучше понять ее.

Для него такое проявление лихорадки, повлиявшей на воображение ребенка, склонного к поэзии, а также и ко всему таинственному, представляло интересный случай для изучения. Он не нашел нужным разуверять Диану и оставил ее в сомнении, но он также не подтверждал, что все виденное и слышанное ей была действительность. Он сделал вид, будто он сам хорошенько не знает, был это бред лихорадки или нет, и неизвестность, в которой она осталась, доставила ей много радости. Оставляя ее, он говорил самому себе: «Многие не знают того вреда, который можно причинить детям, осмеивая наклонности и подавляя способности их. Этот ребенок рожден художником, а отец ее и не подозревает того. Но сохрани ее Бог от его уроков! Они подавят в ней всякое понимание искусства, и оно опротивеет ей». К счастью Дианы, отец ее не хотел заставлять ее работать и, видя ее такой слабенькой, решил не противоречить ей ни в чем. Не одно утро провела она у доктора, где ей несколько раз случилось видеть его древности, бюсты, медали, статуэтки, камни и гравюры. Он был большой любитель и знаток, несмотря на то что никогда не брал карандаша в руки; он старался все объяснять ей, а этого было слишком достаточно для того, чтобы Диана получила тотчас же желание копировать все, что она видела. В то время как он делал свои визиты больным, она оставалась у него и рисовала.

Я бы вас обманывала, мои милые дети, если бы говорила вам, что она хорошо рисовала. Нет, она была слишком молода, во-первых, да, кроме того, слишком предоставлена самой себе; но, несмотря на это, она уже приобрела очень многое, а именно – сознание, что рисунки ее ничего не стоят. Прежде, бывало, она довольствовалась всем, что выходило из-под карандаша ее; она смотрела глазами фантазии и совершенного невежества и часто на своих рисунках принимала уродов за красивые лица, и когда, бывало, делала шарик с четырьмя прямыми черточками, то уверяла себя, что это были баран или лошадь.

Эти легкие мечтания рассеялись скоро, и каждый раз, как она делала рисунок и доктор говорил ей: «Это недурно!», она тотчас же говорила сама себе: «Это нехорошо, я вижу, что это нехорошо».

Было время, когда она думала, что лихорадка мешала ей хорошо видеть, тогда она просила своего доброго друга доктора вылечить ее.

Мало-помалу он в этом преуспел, и тогда, чувствуя себя более крепкой и сильной, она не поторопилась, чтобы ей как можно поскорее научиться рисовать. Диана на время забыла свои карандаши и проводила все дни в прогулках по саду или по деревне в сопровождении своей кормилицы и стала отлично спать по ночам.

V

Потерянное лицо

В мае Флошарде оставили город и переселились в деревню. Диане очень нравилось там. Однажды она рвала фиалки у опушки небольшой рощи, находившейся между садом ее отца и садом соседней дамы, вдруг она услышала голоса, посмотрев сквозь ветви, она увидела свою мачеху, которая сидела в гостях у соседней дамы. На госпоже Лоре был роскошный туалет из кисеи на розовом шелковом чехле. Соседка была одета более практично для прогулки по лесу. Диана пошла было им поклониться, потом сконфузилась и остановилась.

Она совсем не была дика, но госпожа Лора сделалась к ней так холодна и так равнодушна, что она не знала, будет ли мачехе приятно, когда она к ней подойдет.

Колеблющаяся и огорченная, она вернулась назад и принялась снова рвать фиалки, впрочем, не желая совершенно уходить; она ожидала, что ее, может быть, позовут. Так как она была нагнувшись за кустарниками, то эти дамы не могли видеть ее, и Диана сделалась невольно свидетельницей того, что госпожа Лора говорила своей приятельнице.

– Я думала, что она придет вам поклониться, но вместо того она спряталась, чтобы избавиться от этого. Бедный ребенок! Она так дурно воспитывается с тех пор, как мне запретили заниматься ей. Что вы хотите, моя милая? Отец ее очень слаб и, кроме того, находится под влиянием этого неуклюжего медведя, доктора Ферона. Он решил, что девочка не должна получать никакого образования, ну, теперь вы сами видите, каковы последствия.

– Очень жаль, – говорила другая дама, – а она такая хорошенькая и у нее очень кроткий вид. Я ее часто вижу подле моего цветника, никогда она в нем ничего не трогает, и когда меня видит, то всегда очень вежливо мне кланяется. Если бы она была немножко получше одета, все было бы хорошо.

– Да как можно ее одевать? Вообразите, моя милая, этот старикашка-доктор запретил ей даже надевать корсет! Не велел носить ни одной косточки! Как же вы хотите, чтобы после этого она не сделалась горбатой.

– Она совсем не горбатая. Напротив, она очень хорошо сложена; но ее можно бы было одеть, совсем не стягивая, а только положив на ее юбочки немножко отделки.

– О! Этого она сама не хочет. Этот ребенок ненавидит туалет. Это она, верно, наследовала от своей матери, которая, как говорят, была совсем простая женщина и более занималась своей кухней, нежели тем, чтобы сделаться женщиной нарядной и хорошего тона.

– Я знала ее мать, – заметила ей соседка, – это была очень хорошая женщина, очень рассудительная и почтенная, я вас уверяю.

– А, может быть! Я это говорю так, чтобы что-нибудь сказать. Господин Флошарде имеет ее портрет, но он у него где-то запрятан, так что я его никогда не видела. Он вообще не хочет, чтобы я с ним говорила о ней, это мне, конечно, все равно! Что касается ребенка, то пусть его воспитывают как хотят, особенно когда это меня не касается; а я бы любила ее, если бы мне позволили сделать из нее миленькую девочку... но...

– Что же, она груба и беспокойна?

– Нет, моя милая, хуже этого: она просто немного идиотка.

– Бедная девочка! Разве ее ничему не учат?

– Ничему! Она не умеет даже – вообразите! – завязать ленточки и пришить к волосам цветков.

– Я думала, что она любит рисовать?

– Да, она это любит, но отец ее говорит, что у нее нет вкуса и она ничего не понимает в живописи, как и во всем остальном...

Диана ничего более не слыхала. Она закрыла руками уши и ушла в глубину рощи, чтобы скрыть свои слезы. Она чувствовала себя глубоко огорченной, хотя не отдавала себе отчета, почему именно: было ли тому причиной унижение, что ее считают такой глупой, или то, что отец находил ее неспособной, или наконец то, что она узнала, что ее не любят. «Но мой отец меня любит, – говорила она сама себе. – О, в этом я уверена! Если он находит меня глупой и неловкой... Это может быть, но от этого он меня не менее любит. Это только мама Лора презирает меня, и только ей нет до меня дела».

До настоящей минуты Диана делала все, что могла, чтобы любить госпожу Лору. Теперь она почувствовала, что она для нее ничто, и в первый раз подумала о своей матери, стараясь всеми силами ее припомнить, но это было невозможно; она была еще в колыбели, когда потеряла мать, и не могла чувствовать этой потери. Она очень смутно помнила также и о свадьбе своего отца с госпожой Лорой. Она в этот день в первый раз заметила грусть на лице своей кормилицы; помнила также, как много раз та, глядя на нее, говорила:

– Бедная малютка, какое это для нее несчастье.

Сначала госпожа Лора целовала Диану и кормила ее конфетами.

Тогда ребенок не обращал более внимания на печаль кормилицы. Она начала понимать ее только тогда, когда от мачехи ей приходилось выслушивать горькие слова о себе самой и о своей покойной матери, о которой никто никогда ничего не говорил и о которой она начала думать с таким страстным чувством, какое она еще никогда в жизни до сих пор не испытывала, как будто Диана сделала в самой себе открытие такого чувства, которое, казалось, было заснувшим в глубине ее сердца. Она упала на траву, повторяя дрожащим от рыдания голосом:

– Мама! Мама!

Тогда она услышала между ветвей цветущей лилии мягкий голос, который говорил ей:

– Диана, моя милая Диана, дитя мое, где ты?

– Здесь, здесь! Я здесь! – закричала Диана, убегая, точно помешанная.

Голос снова звал ее то с той, то с другой стороны.

Она бросилась на его зов, подошла к берегу большой реки, не понимая, в какой местности она находится. Она вошла в воду и увидела себя сидящей на дельфине, у которого были серебряные глаза и золотые ноздри. Она не думала более о своей матери и смотрела на сирен, которые срывали цветы на самой середине реки. Потом она вдруг очутилась на вершине горы, где стояла большая статуя из снега.

Это была кормилица, ее добрая Жоффрета, которая, поднимая ее с земли, говорила:

– Я твоя мать, приди поцелуй меня.

Но Диана не могла более двигаться, потому что она сама сделалась статуей из снега. Вдруг она разломилась на две части и покатила на дно оврага, где снова увидела замок Пиктордю и даму под покрывалом, которая делала ей знак, чтобы она следовала за ней. Она начала было кричать: «Покажите мне мою мать!», но дама под покрывалом обратилась вдруг в облако, и Диана проснулась, почувствовав на своем лбу поцелуй.

– Я ищу вас добрых четверть часа. Не нужно так спать на траве, земля еще свежа. Вот вам полдник, за которым я только что ходила. Вставайте же, вы простудитесь, пойдемте вон туда кушать на солнышке.

Диане не хотелось есть. Она была очень взволнована своим сном и смешивала видения с тем, что было прежде с ней наяву. Первые минуты она не давала себе отчета, а потом вдруг обратилась к Жоффрете и сказала ей:

– Ну, – так звала она свою кормилицу – скажи, где мама? Не теперешняя мать, нет, нет, не госпожа Лора, но настоящая, прежняя?

– А! Боже мой! – сказала Жоффрета совсем удивленная. – Она на небе, вы ведь это знаете!

– Да, ты мне это уже раз говорила! Но где это небо? Как туда идти?

– Разумом, мое дитя, добротой и терпением, – отвечала Жоффрета, которая была далеко неглупа, хотя мало говорила, особенно без нужды. Диана опустила голову и задумалась.

– Я знаю, – сказала она, – что я ребенок и что у меня нет еще разума.

– О! напротив, для ваших лет у вас его вполне достаточно.

– Но в мои лета бывают глупы, не правда ли, и наскучивают другим?

– Зачем вы это говорите? Разве я скучаю с вами? Разве ваш отец не ласкает вас и доктор не любит?

– Но госпожа Лора?

И так как Жоффрета не любила лгать, то ничего ей и не ответила на это. Диана же прибавила:

– О, я отлично знаю, что она меня не любит. Скажи мне, моя мать любила меня?

– Конечно, она обожала вас, хотя вы были совсем крошечкой.

– А теперь, если бы она меня увидела, то, как ты думаешь, полюбила ли бы она меня больше или меньше?

– Матери любят своих детей всегда одинаково, сколько бы им лет ни было.

– Тогда это мое несчастье, что у меня нет более матери?

– Этому несчастью вы должны помочь, стараясь быть доброй и умной, такой, какой вы были бы, если бы она постоянно вас видела.

– Но она ведь меня не видит?

– Да я этого и не говорю! Я ничего не знаю, но я также не могу сказать, что она вас не видит.

Кормилица должна была отвечать таким образом потому, что девочка имела богатое воображение и глубокие чувства. Поцеловав кормилицу, Диана задала ей еще тысячу вопросов о своей матери.

– Дитя мое, – сказала Жоффрета, – вы от меня многого требуете. Я знала вашу маму очень недолго, для меня она была самым лучшим, самым прекрасным существом на свете, я много оплакивала ее и плачу о ней до сих пор, когда вижу ее во сне. А потому прошу вас, не говорите мне много о ней, если вы не хотите сделать мне неприятность.

Она сказала это для того, чтобы успокоить Диану, которая была очень взволнована. Хотя Жоффрете и удалось развлечь Диану, но вечером с ней опять был легкий припадок лихорадки и в продолжение целой ночи она видела смутные и тяжелые сны. К утру она успокоилась, открыла глаза и увидела, что день начинал занимать. От голубой занавески окна комната ее казалась совершенно голубой, и она не могла сначала ничего разглядеть; мало-помалу она начала яснее видеть, видеть настолько, что могла четко различить фигуру, стоящую у постели ее.

– Это ты, Нуну? – сказала она, но фигура ничего не отвечала, и Диана услышала, что Жоффрета, лежа в своей постели, немного кашляла. Кто была эта фигура, которая, казалось, как будто охраняла Диану?

– Это вы, мама Лора? – спросила Диана, забывая ее недавние слова и готовая снова любить ее. Фигура не отвечала, как и прежде. Всматриваясь пристальнее, Диана увидела, что лицо ее было под покрывалом.

– А! – сказала она с радостью. – Я узнаю вас! Вы моя добрая фея, которая пришла отсюда. Так вот вы, наконец! Вы, может быть, пришли, чтоб сделаться моей матерью?

– Да, – ответила дама под покрывалом приятным голосом, который звенел, как звук хрусталя.

– И вы будете меня любить?

– Да, если ты сама меня полюбишь.

– О! Конечно, я хочу вас любить!

– Хочешь идти со мной гулять?

– Конечно, сейчас, только я слаба!

– Я понесу тебя.

– Да, да! Идем!

– Что бы тебе хотелось видеть?

– Мою мать.

– Твоя мать – я!

– Правда? О! Тогда снимите ваше покрывало, чтобы я могла видеть ваше лицо.

– Ты хорошо знаешь, что у меня его более нет!

– Увы, значит, я его более не увижу?

– Это зависит от тебя, ты его увидишь в тот самый день, когда ты мне возвратишь его.

– Ах! Боже мой, что это значит? И как я это сделаю?

– Нужно, чтобы ты его нашла; пойдем со мной, я научу тебя многим вещам.

Дама под покрывалом взяла Диану в свои объятия и понесла.

Я не сумею вам сказать, куда именно, – сама Диана не могла об этом вспомнить. Но кажется, что она видела много-много прекрасного, потому что, когда Жоффрета пришла будить ее, она оттолкнула ее рукой и повернулась на другую сторону, чтобы снова продолжать спать и снова грезить; но сон ее переменился. Дама под покрывалом превратилась в доктора, который говорил ей:

– Что мне за дело, любит тебя госпожа Лора или не любит. У нас есть другое дело получше, о котором мы должны заботиться, чем думать о ней!

Потом Диане показалось, что ее постель покрыта картинами, которые были одна другой лучше, и каждый раз, как она видела лицо феи и музы, то она говорила: «А, вот моя мать, я уверена!» Но лицо тотчас же изменялось, и она не могла найти того, которое искала и хотела узнать.

Около девяти часов доктор, предупрежденный Жоффретой, вошел к Диане вместе с ее отцом. У ребенка не было более лихорадки; кризис прошел.

За ней ухаживали целый день и следующую ночь. Через два дня она была совершенно спокойна и по приказанию доктора начала гулять и снова вести беззаботную жизнь.

VI

Отыскиваемое лицо

В один прекрасный день этого года доктор, который следил за всеми, заметил перемену в семействе. Лора не могла скрыть желания снова отдать Диану в монастырь, не потому, чтобы она ненавидела ее: Лора не была зла, она была лишь тщеславна и считала Диану глупой, потому что сама была глупа. Она огорчалась тем, что не может управлять ею, что не может сделать ее своей игрушкой. Она беспрестанно твердила мужу о праздной жизни этого ребенка. Она убеждала его изменить ее рассеянную и бесполезную жизнь. Флошарде не знал, что и думать: он колебался между нападками жены и советами доктора. Он смотрел на дочь с сомнением, с тревогой, спрашивая себя, развита ли она не по летам, как утверждал Ферон, или же она дика и неразвита, как напевала Лора, наконец, не лучше ли, для ее же пользы, снова верить ее попечениям его сестры, монахини в Манде. Со своей стороны Диана, по выздоровлении, успокоенная разумными речами Жоффреты и по природному добродушию, не волновалась более из-за холодных и язвительных придилок своей мачехи, но она уже не любила ее и не искала ее любви. Она относилась вполне равнодушно к этой прекрасной даме. Диана думала совсем о другом.

Желание учиться снова начало томить ее, она хотела изучать уже не только живопись, но и историю искусства, которой объяснения доктора придали интерес и важность. Ее тревожили вопросы о причине и начале всех вещей. «Слишком рано, – говорил доктор, – в твоем возрасте лучше не знать человеческого безумия». Но насколько невозможно излагать историю какого бы то ни было искусства, не касаясь при этом причин его упадка и развития, настолько невозможно это и в общей истории рода человеческого, и он невольно вовлекал ее в действительное изучение этих причин. Она слушала его с такой жадностью, что он сожалел о невозможности заняться с ней подолее, тем более что у Дианы не было никаких серьезных понятий. Флошарде готов был взять для нее гувернантку, но легко было предвидеть, что ни одна не покажется сносной Лоре.

Тогда доктор сделал решительный шаг.

– Отдайте мне вашу дочь и ее кормилицу, – предложил он художнику.

– Вы шутите? – вскричал Флошарде. – Отдать мою дочь?

– Да, отдать, но не покинуть ее, так как мы живем бок о бок, как в городе, так и в деревне. Она будет приходить к вам ночевать, если вы хотите, но будет оставаться у меня с утра до вечера; я буду учить и воспитывать ее по-своему.

– Но у вас нет времени, – сказал Флошарде.

– Я найду его. Я уже стар и довольно богат, я имею право располагать собой и передать моих пациентов моему племяннику, который заканчивает свое образование. Он очень способный. Я воспитал его как сына, но я всегда желал иметь дочь и разделить мое состояние между двумя детьми различных полов. Итак, дело слажено?

Последний довод доктора был очень силен. Флошарде не считал себя вправе отказаться от такого прекрасного будущего для своей дочери, тем более что, судя по образу жизни Лоры, он боялся, что его собственное состояние не сегодня завтра расстроится. Чтобы удовлетворять свою страсть к роскоши, она наделала долгов, которые он не осмелился не признать.

Он уступил, и Лора осталась вполне довольна. Она считала даже более удобным, чтобы девочка с Жоффретой совершенно поселилась у доктора. Флошарде опять уступил, и Диана была помещена в хорошенькой маленькой комнатке, бок о бок с Жоффретой. Доктор сдержал свое слово. Он почти оставил свою деятельность, но, будучи признан великим врачом, он не мог не посвящать для консультаций по два часа в день, во время отдыха своей воспитанницы; Диана проводила эти два часа у своего отца.

Вечером приходил Марселей, племянник и преемник Ферона, советовался с ним насчет серьезных или интересных случаев, почтительно принимая его замечания. Потом, если у него было время, он играл и болтал с Дианой, к которой относился как к младшей сестре, потому что Марселей был добрый малый, хорошо воспитанный и неспособный чувствовать зависть; он обладал большими знаниями и практикой, которыми был обязан дяде. Наследник с таким характером!.. Вы видите, дети, что чудесное есть в природе и, если таких наследников и немного, все же они есть, и я их знаю.

Диана была очень счастлива, очень прилежна и совершенно здорова... Она, казалось, немного забыла свою страсть к рисованию. Можно было сказать, что она, несмотря на свой возраст, понимала, что в развитии состоит все и что не знать чего-нибудь, – значит ничего не знать.

Когда Диана стала большой особой двенадцати лет, она была еще прелестное дитя, простое, живое и доброе во всем, никогда не замеченное в тщеславии, несмотря на то что она была очень основательно образована для своего возраста и ее ум имел пылкие и серьезные стороны, хотя их и не замечали. Она нарисовала очень изящную картину, над которой она работала, присматриваясь к приемам своего отца, но не показывала ее никому, потому что однажды доктор сказал, что картина очень хороша, а Флошарде возразил, что она очень плоха. Диана понимала, что доктор хотя и был хорошим критиком, но ничего не смыслил в исполнении. Он развивал в ней любовь к прекрасному, но не мог дать ей способности воспроизвести его. Она чувствовала, что отец ее имел систему совершенно противоположную теориям доктора, что он никогда не относился хорошо к тому, что не подходило под его вкус, и что он вследствие этого, сам того не сознавая, мог быть несправедливым.

Но могла ли Диана сама это знать? Вот о чем она спрашивала себя с тревогой. Что должна была она думать о таланте своего отца, который доктор критиковал с таким очевидным постоянством? Что она должна была думать о критике доктора, который не умел держать карандаш, не мог провести линию? Эта задача тревожила ее так сильно, что она опять слегка заболела. Она быстро выросла, но не очень похудела и не ослабла. Доктор заботился о ней без особенного беспокойства, но старался угадать ту нравственную причину, которая снова вызвала эти легкие приступы лихорадки. Жоффрета доверила ему, что, по ее мнению, Диана слишком много рисует. Не желая, чтобы ее видели за работой, она вставала рано утром, и кормилица замечала,

что она, работая, то краснела и казалась обезумевшей от радости, то бледнела, с глазами полными слез, и приходила в уныние.

Доктор решил добиться признания от своей возлюбленной приемной дочери, и, несмотря на желание молчать, она не могла противостоять его нежным вопросам.

– Ну, хорошо, сказала она, я признаюсь. Меня мучит одна мысль. Мне нужно найти лицо, а я не нахожу его.

– Какое лицо? Все дама в покрывале? Неужели эта фантазия ребенка возвратилась к такой большой и умной девочке?

– Увы, мой друг, эта фантазия меня никогда не покидала с тех пор, как женщина в покрывале сказала мне: «Я твоя мать, и ты увидишь мое лицо, когда ты мне возвратишь его». Я не поняла этого тогда, но мало-помалу догадалась, что мне нужно найти и нарисовать это лицо, которого я никогда не видела: это лицо моей матери; его-то я и ищу. Мне говорили о ней, что она была так прекрасна! Я, может быть, не в силах буду сделать что-нибудь подобное, не имея большого таланта; я хочу его иметь, но его нет. Я недовольна собой, я разрываю или пачкаю все, что ни сделаю. Все мои лица выходят безобразными или незначительными. Я смотрю, как мой отец украшает свои модели, потому что он умеет их украшать. Я вижу теперь и знаю очень хорошо, что от этого зависит его успех. Вот до чего я дошла! Когда я смотрю на эти модели, которые, конечно, не всегда прекрасны, – ведь к нему приходят позировать также дамы довольно увядшие и господа довольно безобразные, – то нахожу наиболее безобразных все-таки сноснее тех условных фигур, которые изображает мой отец. Они, по крайней мере, были самими собой, эти лица, которые позировали перед отцом, в них было что-нибудь оригинальное, а это именно папа и считает своей обязанностью отнять у них, и они довольны, что он отнимает это у них. В моей голове все недостатки их отражаются так, как они есть, и я хорошо знаю, что если я буду рисовать, то буду поступать совершенно иначе, нежели папа. Это-то меня и тревожит и печалит, потому что у него несомненный талант, а у меня его нет.

– У него есть талант, у тебя нет его, это верно, – возразил доктор, – но он у тебя будет, ты слишком о нем тревожишься, а это знак, что он придет к тебе, и когда он у тебя будет, – я не хочу сказать, что твой талант будет больше, чем его, я ничего не знаю, – это будет совершенно другой род таланта, потому что ты смотришь другими глазами. Отец не может ничему научить тебя; ты сама должна найти свой талант, а для этого нужно время. Ты слишком торопишься и этим рискуешь многое потерять; ты схватываешь лихорадку и, конечно, ничего не сделаешь, если не будет здоровья. Что же касается лица, которое ты отыскиваешь, то ты можешь, если это тебе необходимо, узнать даму под покрывалом, которая тебя так волнует; у твоего отца есть очень хорошая и похожая миниатюра твоей матери; не он делал этот портрет, и он не любит его, потому что он сделан не в его духе. Он не показывает его никому и утверждает, что это совершенно не она; я же говорю, что это именно она, и могу попросить его показать тебе этот портрет.

В эту минуту Диана только и желала видеть черты своей матери. Она живо поблагодарила доктора и, тронутая и обрадованная, приняла предложение его. Ферон обещал ей, что она увидит эту миниатюру завтра же, и взял с нее слово до тех пор успокоиться и работать с меньшим жаром и большим терпением.

– Меньше чем через десять лет нельзя узнать, что ты можешь сделать. Тебе нужно видеть образцы великих мастеров. Мы предпримем путешествие, когда ты будешь в таком возрасте, что оно принесет тебе пользу; путешествие, в продолжение которого ты будешь брать уроки у какого-нибудь хорошего живописца, потому что здесь, на глазах отца, нас будут порицать за это. Его считают первым живописцем в свете, и ему самому, может быть, было бы больно видеть тебя у постороннего учителя.

– О, это невозможно! Я это понимаю! – вскричала Диана. – Я потерплю, мой добрый друг, я обещаю быть рассудительной.

Диана, насколько могла, сдержала свое слово. Но лишь только она заснула, она опять увидела даму в покрывале, которая звала ее в замок Пиктордю. Едва прибыли они туда, как явилась высокая девушка, стройная и красивая, которая умоляла их уйти как можно скорее, потому что замок должен разрушиться. Диана знала, что эта молодая особа была не кем иным, как Бланш де Пиктордю, и, когда она назвала ее по имени, та отвечала ей:

– Вам нетрудно меня узнать, потому что вы видите на моей шее бирюзовую брошку, которую вы мне дали. Без этого вы не узнали бы меня, потому что у вас нет памяти и вы недостаточно искусны, чтобы нарисовать меня. Удалитесь отсюда. Замок гнил и ветх. Он не может противиться бурям и клонится к разрушению.

Диана испугалась, но дама в покрывале, отстранив Бланш рукой, вошла в галерею и сделала Диане знак следовать за собой. Диана повиновалась, и замок обрушился на них, но не причинил им ни малейшего вреда, точно падал маленький снежок; земля покрылась камнями, одна другой лучше, падавшими с облаков.

– Скорей, поищем мое изображение! – сказала дама в покрывале. – Оно должно быть, как тебе известно, здесь, между ними. Если же ты не найдешь его, тем хуже для тебя: ты меня никогда не увидишь. – Диана долго искала, поднимая камни, одни углубленные, вырезанные в твердом камне, другие выпуклые, на раковинах. На одних были фигуры во весь рост, в высшей степени изящные, на других – нежные или строгие профили; некоторые, как древние маски, выражали гримасы; большая часть имела суровое или меланхолическое выражение, и все были превосходной работы, которой она могла только удивляться. Но фея торопила ее.

– Скорее, скорее, – говорила она, – не увлекайся рассматриванием всего этого, меня, только меня ты должна найти.

Тогда Диана подняла просвечивающий сердолик, на белом матовом фоне которого был вырезан профиль неподражаемой красоты, с волосами, откинутыми назад, с лентой и звездой во лбу. Сначала эта маленькая головка показалась ей величиной с камень перстня, но, по мере того как Диана всматривалась в нее, она росла и скоро заняла всю ее ладонь.

– Наконец! – вскричала фея. – Вот я! Это я, твоя муза, твоя мать, и ты увидишь, что я не обманываю тебя.

Она откинула свое покрывало, приколотое сзади, но Диана не могла увидеть ее лица, потому что видение исчезло, и она проснулась в отчаянии. Однако видение было так живо, так поразительно, что она не вдруг собралась с мыслями и даже сжала руку, думая найти в ней драгоценную камею, которая, по крайней мере, сохранила бы ей так пламенно отыскиваемый дорогой образ. Увы, эта мечта продолжалась не более мгновения. Ее рука была сжата, а когда она открыла ее, в ней не было ничего, ровно ничего.

Когда она встала, доктор вошел к ней, держа сафьяновый ящичек с золотыми застежками, который он открыл, думая обрадовать ее. Но она вскричала, отталкивая его:

– Нет, нет, мой добрый друг! Я не должна еще видеть ее! Она этого не хочет. Надо, чтобы я сама нашла ее, иначе она покинет меня навсегда!

– Как хочешь, – отвечал доктор. – Я не всегда понимаю твои мысли, но не хочу им противоречить. Оставляю тебе этот медальон. Он твой! Твой отец дарит его тебе, и ты его посмотришь, когда фея, которая разговаривает с тобой во сне, позволит тебе это или когда ты перестанешь думать о феях, что будет скоро; теперь ты еще в том возрасте, когда предпочитают грезы действительности, и я не беспокоюсь за твой рассудок.

Диана поблагодарила Ферона за добрые слова и за подарок, который он выпросил для нее. Она поцеловала медальон, не открывая его, бережно спрятала в свое маленькое бюро и поклялась самой себе ждать позволения таинственной музы и сдержала свое слово. Она сопротивлялась желанию увидеть дорогое лицо и снова принялась писать его своим карандашом. Она не забыла и слова, данного своему другу, и работала с большим терпением, не стремилась более к мгновенному успеху и прилежно копировала образцы, не надеясь уже в один день

создать что-нибудь великое. Странная идея поддерживала ее терпение: она старалась припомнить прекрасный профиль, который видела и осязала в своем сне. Он всегда был перед глазами ее и всегда один и тот же. Но она избегала думать о нем слишком долго и слишком часто, потому что тогда он казался ей дрожащим и угрожал исчезнуть.

VII

Найденное лицо

Диана продолжала учиться и была очень счастлива, но однажды – ей было тогда около пятнадцати лет – она нашла своего отца печальным и изменившимся.

– Ты болен, мой дорогой отец? – спросила она, обнимая его. – Твое лицо изменилось!

– Э! – отвечал Флошарде несколько резко. – Разве ты что-нибудь смыслишь в лицах?

– Я стараюсь, папа, я делаю, что могу, – отвечала Диана, которая видела в словах отца насмешку над ее несчастной страстью к искусству.

– Ты делаешь, что можешь! – сказал Флошарде, взглянув на нее печально. – Зачем забрала ты себе в голову глупую идею быть художницей? Ты не имеешь к этому нужды, ты, которая нашла себе второго отца, более умного и более счастливого, чем первый. Ты хочешь узнать тревоги труда, когда можешь избежать их, зачем? Для какой цели?

– Я не могу ответить тебе, милый папа. Это делается против моей воли, но если тебе не нравятся мои попытки, я откажусь от них, как бы мне это тяжело ни было.

– Нет, нет! занимайся, делай, что хочешь, стремись к невозможному; это счастье молодости. Со временем ты узнаешь, что талант не спасает от злого рока и несчастья!

– Боже мой, ты несчастлив! – вскричала Диана, бросаясь в его объятия. – Возможно ли это? Как? Почему? Ты должен мне это сказать. Я не хочу быть счастливой, когда ты несчастлив.

– Не пугайся, – отвечал Флошарде, обнимая ее с нежностью. – Я сказал это, чтобы испытать тебя. У меня нет никакого горя, но я думал, что ты меня не любишь более, потому что... потому что я пренебрегал твоим воспитанием и вверил его другому. Ты, может быть, думаешь, что я был легкомысленным, равнодушным отцом, поступал, как ребенок.

– Нет, нет, мой отец, я тебя обожаю и никогда не думала этого. Зачем буду я так думать, боже мой?

– Да потому, что я много раз думал то же самое. Я упрекал себя. Теперь я утешаюсь при мысли, что, если мне придется испытать несчастье, ты от этого не пострадаешь.

Диана пробовала еще расспрашивать отца; он отклонил разговор и возвратился к своей работе.

Но он был беспокоен и нетерпелив и недоволен тем, что делал. Вдруг он бросил свою кисть и сказал с досадой:

– Дело не пойдет сегодня, я испачкал полотно и чуть не разорвал его. Пойдем, прогуляемся вместе.

Когда они были готовы уйти, вошла Лора, разряженная как всегда, но тоже с расстроенным лицом.

– Как! – обратилась она к мужу. – Вы уходите, тогда как вы должны отдать этот портрет сегодня вечером.

– А если я отдам его завтра? – отвечал Флошарде сухо. – Разве я раб моих заказчиков?

– Нет, но... необходимо получить за него деньги сегодня же вечером, потому что завтра утром...

– Ах да! Ваша портниха, ваши поставщики тканей... Они потеряли терпение, я знаю, и если я их не удовлетворю, выйдет новый скандал.

Диана, изумленная и испуганная, широко раскрыла глаза, поразившие госпожу Лору.

– Милое дитя, – сказала она ей, – вы слишком часто беспокоите вашего отца, вы мешаете ему работать, а сегодня ему особенно нужно работать. Оставьте его в покое.

– Вы меня гоните? – вскричала Диана с изумлением и ужасом.

– Никогда! – воскликнул Флошарде, насильно посадив ее подле себя. – Останься! Ты-то никогда мне не мешаешь.

– Так, стало быть, я мешаю! – отвечала госпожа Лора. – Я понимаю это и знаю, что мне делать.

– Делайте, что вам угодно, – возразил Флошарде ледяным тоном.

Она вышла, а Диана залилась слезами.

– Что с тобой? – сказал ей отец, пытаясь улыбнуться. – Что тебе до того, что я по временам ссорюсь с Лорой? Она не мать тебе, и не безумно же ты ее любишь?

– Ты несчастлив, – отвечала Диана, рыдая. – Мой отец несчастлив, и я не знала этого.

– Нет, – сказал он, принимая свой обычный легкий тон. – Это не несчастье, а неприятность. Правда, я не имею достаточно средств, но я приобрету их. Я буду работать больше, вот и все. Я думал получить возможность отдохнуть и заработать хорошенькое именье ценой около двухсот тысяч франков. В провинции это приятное удобство, но надо тебе сказать, – потому что ты все равно узнаешь это не сегодня завтра, – мы жили слишком широко; я имел глупость делать постройки; сметы были ужасно высокими – словом, нужно их перепродать, и с убытком, потому что кредиторы преследуют меня. Поэтому ты не удивишься, если услышишь, что я разорен. Ты не очень беспокойся: люди всегда преувеличивают. Я продам, что имею, и мои долги будут уплачены, моя честь незапятнанна. Ты не будешь краснеть за своего отца. Будь покойна! Я все поправлю. Я еще молод и силен; я буду брать несколько дороже за работу; нужно только, чтоб заказчики согласились на это. Со временем я надеюсь скопить еще более, чтобы дать тебе достаточное приданое, если только ты не очень спешишь замуж; в таком случае доктор даст задаток.

– Ах, не говори обо мне! – вскричала Диана. – Я никогда не думала о замужестве, и меня никогда не занимало, что предстоит мне в будущем. Будем говорить о тебе одном. Неужели этот прекрасный городской дом, который ты так любишь, который ты так хорошо устроил и к которому ты так привык, будет продан? Нет, это невозможно! Где же ты будешь работать? И твой дом в деревне также будет продан?.. Где же ты тогда будешь жить?

Флошарде, видя, что Диана взволновалась из-за него более, чем он бы хотел, старался успокоить ее, говоря, что, может быть, добьется новой отсрочки. Ее беспокоила чрезмерная работа, которую он брал на себя. Она боялась, чтоб он не заболел. Притворяясь успокоенной, чтоб доставить ему удовольствие, она, совсем убитая, возвратилась вечером домой, скрывая слезы. Она не осмелилась открыть доктору свое горе, опасаясь услышать от него порицание и осуждение своего отца. Она сыграла в шахматы со своим старым другом и удалилась в свою комнату поплакать на свободе.

Она мало спала и не видела снов. Утром, как всегда, принялась за работу, стараясь развлечься, но постоянно возвращалась к одной тяжелой мысли, что Лора уморит ее отца усиленной работой и что, если бы ее бедная мать была жива, Флошарде был бы всегда умерен и счастлив. Она впервые так оплакивала в сердце свою мать, потому что прежде, сожалея о ней, она никогда не думала таким образом; теперь она сожалела о счастии, которое мать ее могла дать ее отцу и которое она унесла с собой.

Она рисовала машинально, не думая, что делали ее руки.

Из глубины души призывая свою мать, она говорила ей: «Где ты? Видишь ли ты, что происходит? Разве не можешь ты сказать мне, что делать, чтобы спасти и утешить того, кого другая разоряет и делает несчастным?»

Вдруг она почувствовала горячее дыхание на своих волосах, и голос тихий, как утренний ветерок, прошептал над ее ухом: «Я здесь, ты нашла меня».

Диана вздрогнула и обернулась: позади ее никого не было. В комнате ничто не двигалось, кроме теней на белом еловом полу от колеблемых ветерком листьев липы. Она взглянула на бумагу: там был легко очерченный ею силуэт; она обозначила его более, дорисовала лицо, не придавая ему важности. Потом она сделала на этой голове прическу, нарисовала ленту и звезду, вспоминая о великолепной камее, виденной ею во сне, и равнодушно смотрела на свой рисунок, когда Жоффрета пришла прибрать в комнате.

– Ну, дитя мое, – сказала добрая женщина, подходя к ней, – довольны вы сегодня вашей работой?

– Не более, чем всегда, моя милая Жоффрета. Я даже хорошенько не знаю, что нарисовала... Но что с тобой? ты бледна, на глазах слезы?

– Ах! Господи Боже! – вскричала Жоффрета. – Возможно ли? Неужели это вы рисовали? Стало быть, вы смотрели на портрет? Вы срисовали его?

– Какой портрет? Я ничего не срисовывала.

– Тогда... тогда... это призрак, чудо! Доктор, подите, посмотрите, подите, подите, посмотрите! Что вы на это скажете?

– Что? Что там такое? – сказал доктор, искавший Диану, чтобы завтракать. – Почему Жоффрета кричит о чуде?

И, взглянув на рисунок Дианы, прибавил: «Она срисовала медальон! Но это очень хорошо, моя дочь! Знаешь ли ты, что это очень хорошо! Это удивительно! Поразительное сходство! Бедная молодая женщина! Мне кажется, что я вижу ее. Вперед, дочь моя! Мужайся! Ты будешь делать лучшие портреты, чем твой отец: этот прекрасен, он как живой».

Диана с изумлением посмотрела на свой рисунок и нашла в нем верное изображение камей своего сна, образ которой запечатлелся в памяти ее; но это, как и то сходство, которое находили Жоффрета и доктор, было без сомнения плодом фантазии. Она не хотела говорить им, что никогда не открывала медальона: она боялась, чтоб они не открыли его, а она еще не считала себя достойной этой награды.

За завтраком она, однако, спросила у своего доброго друга, уверен ли он, что портрет ее матери действительно похож.

– Как же бы иначе я узнал его? Ты хорошо знаешь, что я не говорю для угождения тебе. Жоффрета, – прибавил он, – принеси этот рисунок. Я хочу его видеть.

Жоффрета исполнила приказание, и доктор пристально вглядывался в рисунок, прихлебывая свой кофе. Он не говорил более ничего, совершенно углубившись в созерцание, а Диана с тоской спрашивала себя: «Что, если первое впечатление не возвратится к нему!» В эту минуту доложили о господине Флошарде, который иногда приходил к доктору пить кофе.

– Что это вы рассматриваете? – спросил он Ферона, поцеловав дочь.

– Посмотрите-ка, – отвечал доктор.

Флошарде нагнулся над рисунком и побледнел.

– Это она, – сказал он в волнении. – Да, это милое и доброе создание, о котором, хотя я этого и никому не высказываю, но думаю постоянно и теперь более, чем когда-либо. А кто делал этот портрет, доктор? Это копия с медальона, что я дал вам для Дианы; только это бесконечно более прочувствовано и лучше исполнено. Черты здесь более благородны и более верны. Это замечательная вещь, и у меня нет ни одного ученика, способного сделать так. Скажите же, скажите, кто это делал?

– Это... это... – сказал с лукавой запинкой доктор, – маленький воспитанник... мой воспитанник, не во гнев вам будет сказано!

Флошарде взглянул на дочь, которая отвернулась к окну, чтобы скрыть свое волнение, потом обернулся к доктору с вопросом на лице. Он понял и с величайшим изумлением перевел

глаза на рисунок, отыскивая, нельзя ли к чему придраться, и ничего не находя, потому что был в том состоянии духа, когда люди менее уверены в себе и более склонны признавать, что даже в самых очевидных вещах можно ошибаться.

Диана не смела обернуться, она боялась думать, она наклонилась над окном, чтобы скрыть свое смущение, не обращая внимания на солнце, которое ударяло ей в голову и резало своими яркими лучами ей глаза. В этом забытии она увидела высокую белую фигуру чудной красоты, зеленоватое платье которой блестело, как изумрудная пыль. То была муза ее грез, то была добрая фея, дама в покрывале; но на лице ее более не было покрывала, оно развевалось около нее, как золотое сияние, и ее прекрасное лицо, лицо камеи, виденной ею во сне, было совершенно такое, какое Диана нарисовала и которое Флошарде рассматривал на бумаге с удивлением, смешанным с некоторым ужасом.

Диана протянула руки к этому лучезарному образу, который улыбался ей и радостно говорил, исчезая: «Ты опять увидишь меня».

Диана, пораженная и восхищенная, упала на стул в углублении окна, у нее вырвался крик радости. Флошарде и доктор бросились к ней, думая, что ей дурно, но она успокоила их и, не говоря им про свое видение, спросила у отца, действительно ли он доволен ее работой.

– Я не только доволен, – отвечал он, – я восхищен и растроган. Я порадуя тебя, дитя мое: в тебе есть священный огонь и притом знание живописи не по летам. Продолжай, не утомляя себя, работай, надейся, но чаще сомневайся в себе: это очень полезно, а я, я не сомневаюсь более, я совершенно счастлив!

Они обнялись, рыдая. Потом Флошарде попросил свою дочь оставить их с доктором наедине, поговорить о делах. Она удалилась в свою комнату, где была одна, потому что Жоффрета завтракала. Диана подбежала к своему бюро, вынула сафьянный ящик, который она перевязала черной атласной лентой, чтобы избежать искушения открыть его слишком рано. Она, наконец, открыла его, стала на колени на подушку и поцеловала медальон, прежде чем взглянуть на него, потом закрыла глаза, чтобы представить себе идеальный образ, который обещал ей снова явиться. Она увидела его совершенно ясно и, уверенная в позволении его, наконец взглянула на портрет. Это было то же лицо, которое она нарисовала, это была муза, камей, мечта, и все-таки это была ее мать. Это была действительность, отысканная поэзией, чувством и воображением.

Диана не спрашивала себя, каким чудом это случилось. Она приняла дело так, как оно было, и не старалась потом объяснить его рассудком. Я думаю, что она была совершенно права. В молодости лучше верить в божественных друзей, чем слишком верить в самого себя.

VIII

Перемена

Я не буду рассказывать день за день два следующих года, прожитых Дианой. Она продолжала работать скромно и мужественно, часто с почтительной нежностью прося совета у своего отца. Но он не всегда был в состоянии понимать то, чего сам не мог сделать.

Диана безотчетно избрала путь, совершенно противоположный его пути. Ее родина обладала многими произведениями древней скульптуры, которыми начинали дорожить, потому что французский вкус получил новое направление. Гравюра распространяла и популяризовала драгоценные находки Геркуланума и Помпеи: картины, вазы, статуи, утварь, всевозможные предметы. Изящная простота, как тогда говорили, стремилась заменить пестроту китайщины, манерность и округленность рококо. Изучали лучше Италию, путешествовали больше и, если еще дорожили прекрасным колоритом и игривой фантазией Ватто, то не менее пленя-

лись этрусскими вазами и греческими медальонами. Общество не возвращалось более ко времени Валуа, которое известно теперь под именем эпохи Возрождения; предпринимали новое возрождение, менее оригинальное, но все-таки прекрасное. Тогда делалась мебель в так называемом древнем стиле, который известен нам под именем стиля Людовика XVI. Она была прекрасна и изящна, хотя и неверна древности. Женщины также стали уменьшать свои монументальные прически и небрежно взбивали вокруг лба свои все еще напудренные волосы. Мужчины, завивая, связывали простой лентой свои длинные волосы, которые недавно еще носили в кошельке, а некоторые поднимали их в косы черепаховой гребенкой.

Флошарде в своей мастерской был причесан именно таким образом и снимал портреты с людей более просто одетых, нежели те, которые доставили ему столько славы.

Никто не удивлялся тому, что дочь Флошарде, на которую начинали обращать внимание, была одета еще проще, чем то предписывала мода; никто не спрашивал себя, каким образом это отражение прошедшего, этот только что развивающийся вкус успел уже так быстро, так решительно сродниться с ней, с ее стремлениями и талантом. Только Флошарде сделался печальным и получил отвращение к своей манере писать. Это обновление формы искусства застало его врасплох, его, который всегда старался выставить на первый план наряд. Он замечал постепенный упадок известности, которой он пользовался. Он попробовал увеличить свою цену в то время, когда общество менее всего было расположено платить дорого, и, так как он унизился до того, что стал торговаться, то скоро увидел уменьшение числа заказчиков. Талант его дочери становился известным, и ему не боялись говорить, что дочь должна ему помогать и, где нужно, заменять его. Конечно, бедный человек не завидовал таланту своей милой Дианы, но он ни за что не соглашался заставить ее прервать ее независимые и плодотворные занятия, чтобы предаться ремеслу для приобретения денег на прихоти госпожи Лоры.

В продолжение этих двух лет положение художника сделалось очень затруднительно. Он хотел все спасти усиленной работой, он убивал себя трудом, но все-таки не достигал того, чего хотел. Работы становилось все меньше и меньше. Неспособная соблюдать экономию в расходах, госпожа Лора собрала свое маленькое имущество и удалилась в Ним к своим родителям, где проводила три четверти года, лишь ненадолго являясь к мужу, а в остальное время тратила на новые платья то немного, что у нее было, вместо того, чтобы употребить его на облегчение хозяйственных затруднений. Диана, видя отца покинутым, печальным и одиноким, опять переселилась к нему и делила свое время между ним и доктором. Прежде всего она отпустила всех слуг. Жоффрета сделалась кухаркой, и Диана помогала ей, чтобы ее отец, привыкший жить хорошо, не знал никаких лишений. Она привела в порядок дом и дела. Долго отклоняла она опасность, угрожавшую состоянию Флошарде, аккуратно выплачивая проценты. Но наконец настал день, когда кредиторы, устав ждать, наложили запрещение на дома, сады, маленькую ферму, предметы искусства и движимость отца ее. Это было жестоким ударом для Флошарде, который не мог более скрывать своего несчастья от дочери и друзей. Он вынужден был все покинуть и искать в другом месте не новых, постоянных заказчиков, — на это нужны были годы, — но хоть какой-нибудь работы. Он уже получил заказ для церквей в Арле. Там он писал святых дев и ангелов и тотчас же стал мечтать о возможности приняться за портреты. В то же время он рассчитывал прослыть учителем прекрасного, взявшись за то, что он называл высокой живописью. Но способ изображения святых дев и ангелов уже переменялся. Долгое время любили улыбающихся полненьких мадонн времен Людовика XV. Теперь предпочитали мадонн более серьезных и менее похожих на хорошеньких деревенских кормилиц. И добрые матушки, которых Флошарде тщетно окружал светлым сиянием, усеянным превосходно отделанными розами, возбуждали немало шуток. Эти насмешки, которые из уважения к его прежней известности не доходили до него, достигли, однако, ушей Дианы. Она поняла, что эта новая попытка не поднимет ее отца, и, войдя однажды вечером к доктору, когда он удалился в свою комнату, она сказала ему:

– Знаете ли вы, мой добрый друг, что мой отец погиб?

– Да, я это знаю, – отвечал доктор, – совершенно погиб! Ему нужно двести тысяч франков, и никто не хочет ссудить их ему.

– Но если кто-нибудь поручится?..

– Кто сделает эту глупость? Это все равно, что бросить двести тысяч в воду: твой отец не расплатится никогда.

– Вы сомневаетесь в нем?

– Не в нем, но лишь только он приобретет видимое довольство, его жена возвратится и разорит его еще больше.

– Купите, по крайней мере, один из его домов, чтобы он мог удовлетворить кредиторов. Вы позволите мне жить в нем с отцом, а когда его не станет, вы возьмете все обратно. С меня довольно таланта, чтобы прожить, мне надо так мало, мой заработок самого маленького размера удовлетворит меня.

– Ты забываешь, что твоему отцу нет еще и пятидесяти лет, а мне уже семьдесят пять. Если я куплю его имение, я уже не буду получать процентов с моего капитала и умру в нужде. Разве ты этого хочешь?

– Нет, я буду платить за наем. Я буду работать, моя добрая фея сделает для меня еще одно чудо: я приобрету деньги. Попробуйте, мой друг, отклонить продажу нашего имущества, поручившись за уплату, и вы увидите, что не пройдет двух лет...

– Это не так верно, – сказал доктор. – Есть другой способ решить дело, но он очень тяжел. Я могу купить для тебя городской дом твоего отца и все предметы искусства из деревенского дома. Я могу предложить ему сохранить свое жилище, свои привычки и благосостояние, так как вы можете отдавать внаем часть этого большого дома, и у вас будет небольшой доход, достаточный для удовлетворения ваших потребностей. Но вот что выйдет из этого: госпожа Лора вернется к мужу и выгонит тебя своими сплетнями. Ты не выдержишь этой борьбы, которой ты никогда не хотела бы начинать, и возвратишься ко мне, чему, конечно, я буду очень рад. Но твой отец подчинится ее игу, начнутся долги, потому что им не хватит маленького дохода с квартир. Тогда ты откажешься от собственности, чтобы спасти честь своего имени, твой отец будет так же разорен, как сегодня, а ты, ты лишишься всего, потому что приданое, которое я хочу тебе дать, уйдет на оборки к юбкам твоей мачехи. Ты знаешь, что я хочу разделить мое имение между тобой и моим племянником. А долги твоего отца составляют около половины моего состояния. Итак, для спасения твоего отца я должен пожертвовать твоим будущим – это так же верно, как дважды два – четыре.

– Пожертвуйте им! Нужно пожертвовать им! – отвечала Диана властным тоном, как одна из тех гордых богинь, на которых она походила стройным профилем и прекрасным станом. – Вы мне никогда не говорили, что хотите сделать это для меня. Теперь, когда я это знаю, я покойна: мой отец спасен! Вы не можете посоветовать мне покинуть его в отчаянии и несчастьи ради моего будущего.

– Это прекрасно, – сказал доктор, – но мое настоящее, мое? Мои доходы, то есть мое благосостояние? Что ж, я должен уменьшить их наполовину завтра же?

– Если бы вы выдали меня замуж, не сделали ли бы вы то же самое?

– Я думал, что ты останешься со мной, что мы будем жить семейством. Таким образом издержки не были бы заметны, выкупаясь семейным счастьем. Чем терпеть лишения ради того, чтобы дать возможность жить широко Лоре...

– Без сомнения, – возразила Диана, – это не радость; но вот что я думаю: я решилась заменить ее влияние на отца своим и чувствую, что достигну цели. Я буду отдавать вам проценты с капитала, который вы мне доверите. Верьте мне, если я люблю отца, я люблю также и вас и не хочу, чтобы вы хоть сколько-нибудь страдали от благодеяния, оказываемого мне.

– Хорошо, – сказал доктор, обнимая ее, – я согласен! Иди спать и спи спокойно. Будь что будет! Твой отец будет спасен до следующего раза, как ты хочешь того.

Действительно, на следующий день городской и деревенский дома Флошарде были куплены с аукциона доктором Фероном. Но, сверх ожидания Дианы, он закрепил за ней то и другое; он знал, что делал, и не хотел предоставить ей на выбор: или бороться с отцом, или быть разоренной им. Он знал слабость Флошарде к жене и не хотел допустить гибельного сближения между ними. Он ничего не открыл Флошарде.

– Друг мой, – сказал он ему, – я сожалею, что не могу спасти вас от этой катастрофы, вы лишились всего имущества, но, пока я имею доходы, живите спокойно и впредь не делайте долгов. Вы будете жить у вашей дочери, которой я отдаю внаем ваш дом, ставший теперь моим. Она получит ту половину дома, которая вам служила только для балов, спектаклей, а ваши заказчики будут поддерживать ваши и ее доходы, потому что она будет возле вас и, совершенствуясь, возвратит славу вашей мастерской. В ней нет безрассудного тщеславия. Я знаю, что общественное мнение хорошо расположено к ней и, если она захочет, у нее будут заказы и успех.

Флошарде поблагодарил доктора, однако заметил, что, если его жена захочет жить с ним, он должен будет избрать другое жилище.

– Если это будет, – возразил Ферон, – то пусть она примет то, что предложит вам обоим ваша дочь, как главная жилища моего дома.

– Моя жена никогда не согласится на это. Она слишком горда, она будет жить отдельно от меня, ссылаясь на то, что я не могу предложить ей жилище, так как она не хочет быть ничем обязанной моей дочери.

– Это будет очень дурной предлог, так как ничто не помешает ей платить за наем квартиры у своей падчерицы. Кроме того, это будет для нее удобный случай участвовать в общих издержках и исполнить обязанность, которой она слишком пренебрегала.

Флошарде понял, что доктор прав. И в самом деле, его жена причинила ему столько несчастий, что он не мог очень сожалеть о ней. Его легкомысленный характер не позволял ему видеть, какое унижительное положение ему предлагали. Нежный, честный, доверчивый по природе, он надеялся вернуть себе своих заказчиков и независимость, как только долги его будут уплачены.

IX

Возвращение в Пиктордю

В самом деле, с Флошарде совершился переворот. В провинции не любят сомнительных положений, и, сверх того, ввиду его возможного банкротства весь свет взволновался, потому что он считал себя более или менее скомпрометированным. Когда все было уплачено, честного художника, совершенно разоренного, увидели весело ожидающим перед своим полотном прихода благосклонных фигур своих сограждан, – эти фигуры являлись с улыбкой и после тысячи знаков уважения и участия, более или менее деликатно выраженных, тотчас же предлагали работу. Подле него Диана за своим мольбертом ждала спокойно и бодро, чтобы к ней привели детей всех этих господ и дам. Она выбрала эту специальность, чтоб не вмешиваться в дела своего отца. К ней приводили все молодое поколение города и окрестных замков, надежду семейств, гордость матерей, толпу красивых малюток, потому что не должно забывать, что Арль – страна красоты.

Диана выказывала много веры в свои силы, но то была роль, которую бедное дитя разыгрывало по необходимости. В сущности, она считала себя слишком мало знающей, чтобы рабо-

тать хорошо, и все еще, несмотря на свой возраст, просила чудесной поддержки своей матери, прекрасной музы, потому что эти два образа слились в один в мыслях ее.

В первый раз, когда она решилась приняться за работу, она отыскала в своем бюро старую святыню, которую она уже давно не видала, – маленькую головку ребенка Бахуса, найденную в Пиктордю; Диана поняла ее теперь и нашла еще более прекрасной, чем она казалась ей прежде. «Милый маленький божок, – сказала она, – ты пробудил меня к жизни в искусстве. Вдохнови меня и теперь! Открой мне ту тайну истины, которую вложил в тебя великий неведомый артист. Я соглашаюсь остаться такой же неизвестною, как он, если создам несколько образцов такой красоты, как ты».

Диана еще не позволяла себе писать красками, она начала с пастели, которая была в большой моде в то время. Первые рисунки ее были до того замечательны, до того прекрасны, что о ней заговорили в двадцати местах. Заказчики в одно и то же время возвращались к ее отцу и приходили к ней. Дворянство и купечество любили встречаться в этой скромной мастерской, где отец и дочь работали вместе; один – умно и весело болтая после многих лет тоски и забот, которые теперь прошли; другая – молчаливая и скромная, не подозревая о своей красоте и не возбуждая зависти. Вспоминая легкомысленные черты, безумные наряды и резкий тон Лоры, никто не жалел, что Флошарде избавились от нее. В другой раз к ним приходили просто поболтать: это вошло в моду. Приходить туда беседовать сделалось признаком хорошего тона.

В конце года Флошарде и его дочь, живя очень скромно, но без больших лишений, имели возможность заплатить доктору за наем квартиры. Получив деньги, он отложил их на имя Дианы. Он сделал ее, по завещанию, наследницей всех своих доходов. Но он остерегался высказывать это, сколько для того, чтобы не задеть достоинства Флошарде, столько же и для того, чтобы Диана сохранила решимость держать Лору в отдалении.

Несмотря на эту скромную обстановку, госпожа Лора возвратилась, когда узнала, что долги уплачены и дела пошли хорошо. Ей не особенно нравилось жить у родителей, которые были небогаты и бережливы. Там она почти не бывала в свете и ее роскошные наряды мало служили ей. Она возвратилась, и Диана принудила себя принять ее ласково. Сначала она держалась в стороне, но скоро захотела бывать в обществе, посещавшем мастерскую ее мужа. Ее присутствие обдавало холодом, ее болтовня была некстати; находили даже безвкусными ее роскошные наряды и драгоценности, которые она должна была бы поспешить продать, чтобы освободиться от общих долгов. Поговаривали, что она держит себя слишком свободно и принимает с Дианой пренебрежительный тон, вовсе не идущий к ней; и ей дали почувствовать, что ее присутствие не было приятно. Раздосадованная, госпожа Лора удалилась из мастерской и старалась завязать знакомство вне ее. О, напрасно: это была закатившаяся звезда, ее красота увядала с ее успехами. В обществе господствовали более строгие идеи. Ее приняли холодно, и только несколько визитов, сделанных наудачу, были ей возвращены.

Тогда она, чтобы приобрести себе вновь уважение, стала лицемерить и, сбросив свои цветные платья, как вдова Мальборо, приняла манеры и тон ханжи. Перемена эта не могла быть искренней, и она дурно сделала, приняв на себя эту роль. Прежде она была только легкомысленной и эгоисткой, теперь она сделалась лживой, завистливой и злой. Она бранила весь свет, при случае клеветала, все поносила и смущала семью своими обвинениями, своими жалобами, своей щепетильностью и колкостью.

Диана относилась к ней с неизменной кротостью и, видя, что ее отец все еще привязан к этой легкомысленной женщине, она делала возможное и невозможное, чтобы приучить ее к бережливой жизни. Она противилась только одному – необузданному желанию Лоры поставить дом на прежнюю ногу. Рассчитывая на деньги, зарабатываемые ее мужем, госпожа Лора хотела прогнать жильцов и по-прежнему принимать у себя гостей. Диана не уступила, и мачеха с этих пор стала поступать с ней как с врагом, называла тиранкой и глупой всякому, кто только желал слушать эту клевету. Диана сильно страдала от этого преследования и почти решилась

возвратиться в дом доктора, чтобы работать спокойно, но она прогоняла эту мысль, боясь, что отец будет без нее несчастлив.

Однажды ее посетила молодая дама, которую она тотчас же узнала, так как была памятью на лица. Это была виконтесса Бланш де Пиктордю, вышедшая незадолго перед тем замуж за одного из своих кузенов. Она была все такая же красивая, как и прежде, такая же бедная и недовольная своей судьбой и такая же гордая своим именем, которое она имела удовольствие не переменить. Она представила Диане своего молодого супруга. Это был простой малый с обыкновенным и глуповатым лицом, но он был также Пиктордю, отпрыск старшей ветви дома, а Бланш никого другого не считала достойным себя.

Однако, несмотря на это упорство в своих идеях, Бланш сделалась общительнее; она была неглупа в известных отношениях и очень ласково отнеслась к Диане, расхвалила ее талант и не пыталась уже, как прежде, унижать ее профессию. Диана увидела ее опять с удовольствием: ее имя, ее лицо пробудило в ней самые приятные воспоминания детства. Чтобы заставить ее снова прийти, она попросила позволения сделать с нее портрет. Бланш вспыхнула от удовольствия, как в то время, когда она получила бирюзовую брошь. Она сознавала свою красоту и была в восторге увидеть свое лицо, изображенное искусной рукой, но она была бедна. Диана поняла ее затруднение.

– Я у вас прошу это как услугу, – сказала она. – Воспроизводить прекрасное лицо для меня удовольствие, которое достается мне не каждый день, и так как это трудно, то это двигает меня вперед.

В глубине души Диана хотела заплатить только старый долг сердца воспоминанию о Пиктордю. Бланш не поняла этой деликатности и приписала ее своей красоте. Она долго заставила себя упрашивать, приводила различные отговорки, но в то же время боялась быть пойманной на слове. Она говорила, что недолго пробудет в Арле, что ее средства не позволяют ей оставаться в богатом городе и что муж ее, занятый земледелием и охотой, торопит ее возвратиться в деревню, где они постоянно живут.

– Я сделаю с вас, – возразила Диана, – только легкий эскиз тремя карандашами: белым, черным и красным. Если я успею, это выйдет очень хорошо и я у вас займу только одно утро.

Бланш согласилась на завтра. На следующий день она пришла в хорошеньком небесно-голубом платье и с бирюзовой брошью, прикрепленной к ленте на шее.

Диана была в ударе и сделала один из своих лучших портретов, виконтесса нашла себя такой прекрасной, что слезы благодарности повисли на ее длинных черных ресницах, обрамлявших голубые глаза. Она поцеловала Диану и умоляла ее приехать к ней в замок.

– В замок Пиктордю? – вскричала Диана с удивлением. – Вы мне сказали, что живете у отца. Разве вы поправили старый замок?

– Не весь, – отвечала виконтесса. – Мы не имели возможности это сделать, но мы подновили маленький павильон и переселимся туда в будущем месяце. Там есть комната для друзей. Если вы захотите обновить ее, то доставите мне величайшее удовольствие.

Предложение было чистосердечно. Бланш прибавила, что отец ее будет счастлив увидеть снова Диану, так же как и господина Флошарде, о котором всегда вспоминал с удовольствием и называл его «своим другом Флошарде», когда слышал толки о его превосходных картинах.

Диане очень хотелось снова увидеть Пиктордю, и она обещала сделать все возможное, чтобы побывать там в следующем месяце, одна или с отцом, так как этот последний уже давно дал ей слово предпринять небольшое путешествие, чтобы несколько развлечься и повидаться в Манд с ее старой теткой-монахиней. Пиктордю лежал недалеко от этой дороги, и они, конечно, сделают небольшой крюк, чтобы побывать там.

Госпожа Лора была сильно раздосадована, когда узнала, что Диана думает немножко отдохнуть, чтобы поправить свое здоровье. Ей хорошо было известно, что дочь зарабатывает более, чем отец, что ее более ценят как живописца, нежели его. Из-за отсутствия Дианы могли

уменьшиться домашние доходы, и Лора так резко дала Диане это почувствовать, что раздражило ее до крайности. У нее с едкостью выторговывали одну-две недели свободы, которой она совершенно лишала себя в течение двух лет, работая без отдыха, чтобы загладить бедствие, причиненное этой праздной и бесполезной женщиной.

Надо сознаться, что положение было затруднительно. У Дианы достало мужества, – а мужества нужно было много, – чтобы отказаться от приглашения доктора, который звал ее в Италию или Париж и даже был готов сопровождать ее туда, лишь только бы она этого пожелала. Диана страстно желала ехать, но не хотела признаться в этом, чтобы не поддаться искушению. Она находила, что это еще слишком рано, что на отца ее нельзя еще положиться, чтобы оставить его одного в продолжение нескольких месяцев под влиянием Лоры.

Когда Диана увидела, что в благодарность за ее жертву у нее оспаривают право отдохнуть несколько дней, она едва не пришла в уныние от своей задачи и не порвала все. Она устояла, однако отвечала с кротостью, что скоро вернется, и собирала свои вещи, несмотря на то что мачеха двадцать раз прерывала ее несносными придирадками.

Доктор должен был вмешаться и решить, что Диана отправится на следующий же день с Жоффретой. Он просил, смеясь, свое милое дитя вести записки о своих призраках, если только она будет иметь еще счастье видеть их, чтобы потом рассказать ему о них так же мило, как прежде.

Через два дня они должны были прибыть в Сен-Жан-Гардонанк. Марселей Ферон, племянник доктора, сделавшийся такой же знаменитостью, как и дядя, провожал их до этого города, где они провели ночь. Оттуда он отправился к одному из своих друзей, жившему по соседству, между тем как Диана, с радостью отыскавшая честного извозчика Романеша, отправилась со своей кормилицей в наемном экипаже по дороге в Пиктордю. Теперь эта ужасная дорога была исправлена, и наши путешественницы без всяких приключений прибыли после обеда к террасе замка.

Здесь уже не было прежнего входа. Обновленный павильон, который был не что иное, как прежняя купальня Дианы, имел особый вход ниже. Но Диане хотелось увидеть статую, говорившую с ней. Она боялась, что не найдет ее более. Послав вперед Романеша и Жоффрету, она перескочила через недавно поставленную маленькую изгородь и легко поднялась по неровным и изломанным ступеням большой лестницы.

Было около четырех часов пополудни, солнце косыми лучами озаряло все предметы. Диана, еще не видя своей любимой статуи из-за скрывавших ее кустарников, заметила тень ее на песке террасы, и сердце ее забило от радости.

Она побежала туда и взглянула на нее с изумлением. В ее воспоминаниях статуя была громадна, а в действительности она едва достигала человеческого роста. Была ли она такой прекрасной и замечательной, какой тогда казалась Диане?

Нет, она была несколько манерна, складки ее одежды были слишком изысканны и изогнуты, но все же она была изящна и грациозна, и Диана, опечаленная своим разочарованием, послала ей поцелуй, наивно ожидая, однако же, что статуя возвратит ей его.

Терраса была так же запущена, как и прежде; высокая трава не была помята, видно было, что никто никогда не бывал там. Потом Диана узнала, что Бланш, которая боялась змей и принимала за них невинных ужей, никогда не ходила в развалины и не позволяла никому ходить туда. Однако она жила среди этих развалин; Диана удивлялась и радовалась одновременно, видя, что это уединение и беспорядок, которые были ей некогда так милы, не потерпели никакого мешанского улучшения, то есть переделки.

Она восхищалась беспорядком деревьев, лишенных листьев и засохших рядом с живыми и ветвистыми, великолепными дикими растениями, растущими рядом с растениями возделанными, которые теперь росли вместе на свободе, переплетая свои ветви. Она восхищалась этим хаосом камней, где мох равно владел и природной скалой, и скалой, отесанной рукою чело-

века. Она снова увидела чистый ручеек, который когда-то питал своими водами пруды и каскады и который скромно журчал теперь в траве между камней. Она рассматривала этот изящный фасад возрождения, где прихотливыми гирляндами извивался долговечный плющ. Быть может, не хватало нескольких тонко отделанных окон, нескольких башен. Диана не входила в эти подробности; целое имело еще тот благородный и строгий вид, который сохраняют здания этой блестящей эпохи даже в своем разрушении.

Х

Речь статуи

Диана сама хотела найти среди хаоса развалин дорогу в павильон и нашла ее без труда. Бланш, предупрежденная прибытием ее экипажа, вышла к ней навстречу и приняла ее, осыпая ласками; потом она проводила гостью в павильон бань, где Диана провела ту памятную в своей жизни ночь. Увы, здесь все изменилось. Большая круглая зала, где была купальня, исчезла. Стесали мраморные украшения, чтобы сделать колпак над очагом, своды, украшенные гирляндами, были превращены в синий потолок, нимфы, увы! не водили уже более свой легкий и скромный хоровод кругом стен. Зала, обитая оранжевым полотном с большими букетами, сделалась четырехугольной; оставшиеся части превратили в маленькие комнатки.

Проходы арок были освобождены от мусора и диких растений; источник, лишенный своих растений и мятной травы, исчез, заключенный в сруб колодца; куры копались в навозе на соседнем дворике, который прежде служил для входа в баню и был еще выстлан порфиром. Аллея шелковиц, недавно посаженных, казалось, еще не привыкших к климату и почве, спускалась вниз по новой дороге, оставляя в стороне старый парк и развалины. Обитатели Пиктордю, забившись в угол гнезда своих предков, старались, насколько было возможно, избежать перехода через развалины.

Восхищаясь, чтобы угодить Бланш, умением, с которым она извлекла пользу из развалин древнего замка, Диана вздыхала, думая, что она извлекла бы ее совершенно иначе. Но Бланш казалась так горда и довольна своими переделками, что Диана удержалась от замечаний. Маркиз и зять его явились к обеду. Зять был красный и разгоряченный, он сзывал своих собак, крича далеко раздававшимся голосом и громко смеясь после каждой фразы, хотя и нельзя было понять, чему именно он смеется. Маркиз, как всегда, вежливый, благосклонный, ровный и задумчивый. Он принял Диану очень любезно и ничего не забыл из ее первого посещения. Потом он засыпал ее странными вопросами, на которые невозможно было отвечать, не входя в объяснения, как для ребенка.

Этот добрый человек жил так далеко от света, кругозор его жизни был так узок, что, желая говорить обо всем, чтобы не показаться отсталым, он показывал только, что он не в состоянии понимать что бы то ни было.

Бланш, более умная, нежели отец, и более отполированная светом, с которым имела кое-какие сношения, страдала от простоты своего отца и особенно от самоуверенности, с какой муж ее высказывал еще более нелепые суждения. Она противоречила им обоим, не скрывая своего презрения к их невежеству. Диана сожалела о прежнем безмолвии Пиктордю и спрашивала себя, зачем она покинула милую болтовню своего отца и интересную беседу доктора, чтобы выслушивать это нелепое трио, не имевшее даже достоинства согласия.

Сославшись на усталость, она рано удалилась в тесную комнатку, которую хозяева ее величали громким именем почетной комнаты. Но она не могла уснуть. Запах свежей краски заставил ее открыть окно, чтобы избежать головной боли.

Она увидела, что окно выходит на маленькую лесенку, криво лепившуюся к стене. Это был уцелевший остаток старинной постройки, перила еще не были исправлены. Ночь была светлая и прекрасная. Диана, завернувшись в свой плащ, спустилась вниз, довольная тем, что она одна и может пойти, как прежде, на поиски в чудесный замок своих сновидений. Прекрасная муза, ее добрая фея, не явилась протянуть ей руку, чтобы провести ее под кругами, начертанными воображением ее в пространстве над разрушенными сводами. Она не могла вступить под эти арки, которые тщетно пытались выдвинуться из груды обломков. Но она воссоздала в своем уме этот волшебный замок в итальянском вкусе, воздвигнутый в пустыне еще в то время, когда Италия превосходила нас в деле искусства и вкуса. Она восстановила мысленно весь блеск этого исчезнувшего великолепия, которое не могло более возродиться под своей старой формой и которое промышленность уже изгоняла из будущего. Она не встретила во время прогулки никакого призрака, но испытала наслаждение созерцать чудные эффекты лунного света на развалинах. Она поднялась так высоко по скалам, господствовавшим над замком, что видела в глубине лощины переливы зеленовато-серого света в маленькой речке. То здесь, то там черная масса обломков, загромождавших ложе ее, рисовалась среди переливов алмазного блеска. Ночные совы перекликались, точно кошки, папоротники и дроки разливали свое дикое благоухание. Глубокая тишина царила в воздухе, ветви старых деревьев были так же неподвижны, как каменные изваяния террасы.

Диана чувствовала потребность окинуть взглядом свою короткую жизнь среди этой природы, которая невольно наводила на размышления о вечности. Она опять увидела свое детство, свои порывы глубокой пытливости, свои болезненные припадки, свои стремления к таинственному идеалу, минуты отчаяния и восторга, свои печали, свои усилия, свои успехи и надежды.

Но здесь она остановилась: ее будущее было неопределенно, таинственно, как некоторые фазы ее прошлого. Она чувствовала все, чего недостает ей, чтобы перешагнуть скромные границы, которые она поставила себе, когда решила помогать своему отцу. Она хорошо знала, что по ту сторону ремесла, которое обеспечивало ее независимость и человеческое достоинство, простирается для нее широкое поприще. Но получит ли она когда-нибудь возможность вступить в него? Может ли она путешествовать, познавать, чувствовать? Оставить окружающих, знакомство, будничные обязанности – тот предел, который ее отец мог перейти и на котором он остановился, подчинившись требованиям женщины, видевшей в искусстве один барыш?

Диана чувствовала, что и ее жизнь связывала и разбивала та же женщина, от которой нужно было ежечасно отстаивать ленивый и колеблющийся ум отца. Диана еще недавно была готова раздавить ее своим презрением. Но она сдержалась, потому что имела над собой власть, которой недоставало ее отцу, потому что тайный голос шептал ей, когда она почти не могла сдержать себя: «Ты знаешь, что надо преодолеть себя».

Она вспомнила эти минуты внутренней борьбы и подумала о своей матери, которая, без сомнения, передала ей эту тайную и драгоценную энергию терпения. Она с жаром стала молить этого духа-покровителя проникнуть в ее душу, чтобы указать ей долг ее, подобно тому, как образ его являлся ей в видениях, чтобы показать ей красоту. Должна ли она решительно отказаться испытать высшие наслаждения духа для того только, чтобы не покинуть своего отца? Или должна противиться голосу этой музы-матери, которая поднимала ее и переносила в область красоты и истины, чтобы показать ей тот бесконечный путь, на котором художник не должен останавливаться?

Она шла, размышляя таким образом, и очутилась возле статуи без лица, ее первой учительницы. Она прислонилась к подножию, положив руку на ее холодные ноги. Диане показалось, что она слышит голос, который как будто исходил от статуи и отдавался в ней самой сильным дрожанием и который говорил ей:

«Оставь заботу о своем будущем, о душе твоей матери, которая живет в тебе и над тобой. Мы вместе найдем дорогу к идеалу. Настоящее только перепутье, где, остановившись, ты не

перестанешь работать. Не думай, что непременно должен быть выбор между долгом и благородным человеколюбием. То и другое должно идти вместе, помогая друг другу. Не думай, что подавленный гнев и перенесенная скорбь – враги таланта. Не изнуряют они, но возбуждают. Случалось, что ты находила в слезах образ, который искала, и будь уверена, когда ты страдаешь с мужеством, твой талант растет вместе с твоими силами, хотя ты того не замечаешь. Здоровье ума не в спокойствии, оно только в победе».

Диана возвратилась, проникнутая этим внутренним откровением и, оставя окно открытым, заснула так хорошо, как никогда.

На следующий день она чувствовала сладостный покой во всем своем существе. И терпеливо выслушивала наивности доброго маркиза и пошлости его зятя. Она сообщила свое хорошее расположение духа, и Бланш и увела ее, несмотря на сопротивление, осмотреть развалины среди белого дня.

Доктор не ограничился тем, что объяснял своей милой Диане прекрасное в искусстве: он научил ее понимать его и в природе; он дал ей познания, которые придали интерес ее прогулкам. Он просил ее привезти из своего путешествия несколько редких растений. Диана искала их и находила. Она заботливо собирала их для своего старого друга и прибавила еще от себя цветы, менее редкие, но более красивые: гусиную траву скал, прекрасную синюю луговую герань рядом с грациозной коленчатой, мыльную траву, которая пестрила своими бесчисленными цветочками скалистые берега реки, альпийский кочедык, распускавшийся в сырых местах развалин, монпельгаский люпин, усеявший золотыми звездами дерн террасы. Собирая эти цветы, Диана нашла довольно безобразную монету, покрытую толстым слоем ржавчины, и отдала ее Бланш, советуя осторожно очистить ее, чтобы не исцарапать.

– Сохраните ее, – отвечала виконтесса, – если вы видите какую-нибудь цену в этих старых грошах, я не понимаю в этом ничего, у меня много других, которым я не придаю никакого значения.

– Вы мне покажите их, – попросила Диана, – я смыслю в этом немного и с помощью доктора Ферона, который очень учен, могу отличать более интересные. Кто знает? У меня рука счастливая на находки. Быть может, вы обладаете, сами того не подозревая, маленьким сокровищем.

– Которое я вам от души отдам даром, милая Диана! Все это медь, очень тонкое золото или почерневшее серебро.

– Это ничего не значит! Если там найдется несколько дорогих вещей, я вам скажу потом, и вы назначите цену.

Она рассмотрела медали, собранные некогда маркизом и брошенные в угол его жилища, где их отыскивали не без труда. Диана подумала, что не все же они ничего не стоили, и взялась передать их лицам, более сведущим. Она не хотела очищать ту, которую нашла, боясь испортить ее и связывая какую-то суеверную идею со своей находкой. Она завернула ее в бумагу и положила вместе с другими в свой чемодан.

На следующий день она пошла на вершину горы смотреть восход солнца; она была одна и шла наудачу. Она очутилась во впадине скалы против чудного маленького каскада, который, блестящий и светлый, ниспадал между кустами шиповника и шелковистых кистей ломоноса. Солнце косо бросало розовые лучи на эту великолепную картину, и Диана в первый еще раз почувствовала вполне прелесть красок. Так как гора освещалась только сбоку, то Диана вполне отчетливо сознавала эту волшебную жизнь света, то разлитого широкими волнами, то отраженного и переходящего неподражаемыми сочетаниями от яркого блеска к мягкой полутени, от жарких тонов к холодным. Ее отец часто говорил ей о средних тонах.

– Отец, – вскричала она невольно, как будто он был здесь, – нет средних тонов, клянусь тебе, их нет!

Она улыбнулась своему увлечению и упивалась на свободе этим откровением, которое давали ей небо и земля, листва и воды, травы и скалы, заря, сменяющая ночь, и ночь, кротко и покорно удаляющаяся под прозрачными покровами, которые солнце разрывало своими первыми лучами. Диана почувствовала, что она может писать красками, не бросая постели, и ее сердце забилося радостью и надеждой.

На возвратном пути она остановилась опять около статуи и вспомнила все, что вчера сложилось в душе ее.

«Если ты та, кто говорил со мной, – думала она, – то ты научила меня вчера добру. Ты мне показала, что хорошее решение лучше хорошего путешествия. Я тебе обещала войти, улыбаясь, в тюрьму долга, и я сегодня же сделала в искусстве удивительную победу. Я более чем поняла, я почувствовала, я увидела! Я приобрела новую способность! Свет озарил меня, лишь только воля возвратилась в мое сознание. Благодарю, о моя мать, о моя фея! Я обладаю истинной тайной жизни».

Диана покинула Пиктордю, чтобы провести два дня в Манде. Возвратясь домой, она принялась за свою работу и в то же время попробовала, никому не говоря, писать красками. Она просила снабжать ее картинами великих мастеров и каждое утро по два часа копировала их. Она внимательно следила за работой своего отца, который все-таки время от времени писал для церквей толстых мадонн с ротиком в виде сердечка, но который приобрел большой навык в обращении с красками. Она пользовалась его достоинствами и его недостатками.

Однажды Диана попробовала сделать красками портрет: снимая портреты с детей, она создала ангелов.

На другой день разглядели, что картина ее превосходна, и слава ее широко распространилась. Лора поняла, что эта прекрасная девушка, так ненавидимая ею и такая терпеливая, была курица с золотыми яйцами, которую не следует убивать. Она притихла, покорились, притворилась ласковой и, за недостатком истинной нежности, к которой было неспособно ее сердце, показывала ей внешние знаки уважения и внимания. Она согласилась не проклинать ее более, считать себя очень счастливой и не нуждаться ни в чем, даже пользоваться известной роскошью, – потому что Диана охотно лишала себя платья, чтобы дать ей лучшее, – согласилась наконец не беспокоить более доброго Флошарде, который благодаря дочери снова стал таким же рассудительным и счастливым, как был при своей первой жене.

Однажды к Диане явилась виконтесса де Пиктордю и после тысячи любезностей и стольких же околичностей спросила, не может ли она получить обратно часть своих медалей. Она призналась, что поправка павильона потребовала более денег, чем она думала, и что муж ее затрудняется заплатить занятую им сумму, в сущности небольшую, но для него очень значительную.

Бланш прибавила, что если Диана все еще имеет страсть художника к развалинам Пиктордю, то она согласна продать их и уступить ей их со всей скалистой частью парка за весьма умеренную цену.

– Милая виконтесса, – отвечала ей Диана, – если я когда-нибудь и буду в состоянии позволить себе эту фантазию, то все-таки подожду, пока вы не получите серьезного отвращения к замку своих предков. Но знайте, что вам совершенно не нужно приносить эту жертву. Я не забыла про ваши старые монеты. Мне нужно было только время, чтобы найти знатоков для оценки их; я достигла своей цели и могу с удовольствием объявить вам, что три или четыре из них имеют действительную ценность и особенно та, которую я сама нашла. Я собиралась сообщить вам о предложениях, полученных доктором от музеев и любителей. Так как вы здесь, то посоветуйтесь с доктором Фероном, но знайте, что, приняв те предложения, которые получены, вы будете иметь сумму вдвое большую, чем вам нужно.

Изумленная Бланш бросилась на шею к Диане и называла ее своим ангелом-хранителем. Она условилась с доктором, который сделал все как нельзя лучше и скоро возвратил ей вырученную за медали сумму.

Диане нечего было более делать в замке Пиктордю. Она не хотела обладать им в материальном смысле. Она обладала им в своей памяти, как дорогим и священным видением, являвшимся ей, когда она того желала. Фея, которая встречала ее там, покинула его, чтобы последовать за ней, и эта вдохновительница обитала теперь с ней навсегда и везде, где бы она ни была. Она строила бесчисленные замки, дворцы, полные чудес, она давала ей все, чего бы она ни пожелала: горы, леса и реки, небесные звезды, цветы и птиц. Все смеялось и пело в ее душе, все сверкало перед глазами ее, когда после серьезной работы она чувствовала, что достигает успеха, делает шаг вперед в искусстве.

Рассказывать ли вам ее остальную жизнь? Вы отгадаете ее, дети, это была жизнь возвышенная, счастливая и плодотворная превосходными работами. Диана в двадцать пять лет вышла замуж за племянника доктора, своего достойного брата по усыновлению, заслуженного человека, который всегда думал о ней. Она стала богата и могла делать много добра. Между прочим, она основала мастерскую для бедных молодых девушек, которые получали там образование даром. Она, предпринимая с мужем путешествия, которые снились ей, и возвращаясь, всегда находила счастливыми свою родину, своего старого друга, отца и даже мачеху, которую она наконец полюбила за то, что много должна была простить ей, – правило добрых натур привязываться к тому, от кого они много терпели. Они дорожат тем, что им дорого стоило. Великие души любят жертвы, что составляет великое счастье для мелких душ. Бывают и те и другие, и, по-видимому, последние живут за счет первых, но, в сущности, тот, кто жертвует собой и прощает, получает высочайшие наслаждения, потому что с ним живут гении и феи, духи, совершенно свободные в своих взглядах, они избегают себялюбцев и являются только глазам, раскрытым энтузиазму и преданности.

Крылья мужества

АВРОРЕ И ГАБРИЭЛЕ САНД

На этот раз, мои милые девочки, я расскажу вам длинную историю, как вы того желали. Если вы заснете, слушая ее, я dokonчу вам ее в другой раз с тем условием, однако, что вы не забудете начала. Аврора просила, чтоб я выбрала местом рассказа какую-нибудь местность, замеченную вами в продолжение ваших путешествий. Выбор мой, следовательно, не слишком обширен, и я принуждена опять вести вас в Нормандию, где вы уже познакомились с цветущим болотом королевы Квакуши¹. Только на этот раз я покажу вам не эти тихие воды, а неподалеку оттуда синее море, которое вам еще более понравится. Возьмите ваши вязанья или какое другое рукоделие и слушайте внимательно, но спрашивайте, если чего не поймете. Я стану пояснять вам словесно то, что непонятно для вас: изустные выражения всегда понятнее книжных. Вы желали, чтоб в рассказе было чудесное, я исполнила ваше желание, но рядом с чудесным встретится вам и много истинного – такого, о чем вы еще не слыхали. Вы должны быть рады, равно как и ваши большие кузены, что приобретете новые сведения. Природа, милые мои дети, – неистощима сокровищница чудес, она внушает нам удивление каждый раз, когда становятся нам доступны ее откровения.

Ноган. Октябрь. 1872 г.

I

В стране, называемой Ош, в тех местах, где находится город Сен-Пьер-д'Азив, в трех лье от моря, жили-были крестьянин с женой; благодаря своему труду они были люди не бедные. В те времена, то есть лет сто тому назад, страна эта была плохо обработана. По ней тянулись пажити, за пажитями сады с яблонями, далее опять шли пажити, а там – опять сады с яблонями; везде, где только мог обнять глаз, до самого горизонта, все было плоско, ровно, только местами попадался ореховый лесок да деревянный домик с садиком или глиняная мазанка; камня в этой стороне очень мало. Здесь разводили хороших коров, приготавливали славное масло и сыр, пользовавшийся известностью; но так как в те времена не было здесь ни железных, ни больших дорог, ни дач, которых так много понастроено нынче по морскому берегу, то понятия здешних крестьян были очень ограничены, и они нисколько не заботились о том, чтоб земля их доставляла больше урожая, и не пробовали ни сажать, ни сеять ничего нового, чего не сажали и не сеяли прежде.

Крестьянина, о котором идет моя речь, звали Дуси, а жену его Дусет. У них было много детей, все они работали, как отец и мать, и так же, как отец и мать, ничего не придумывали нового, ни на что не жаловались, были очень добры, очень кротки и очень равнодушны ко всему на свете; они ничего не делали скоро, но всегда что-нибудь да делали и были способны, с течением времени, прикопить кое-какие деньжонки, чтобы купить клочок земли.

Только один из них, которого прозвали Хромушей, не работал или почти не работал; и не потому, что он был малосильный или больной, нет, он был не только сильный и здоровый мальчуган, хотя и прихрамывал немножко, но даже очень хорошенький и румяный, как яблочко.

¹ Сказка о королеве Квакуше помещена дальше.

Не был он также ни непослушен, ни ленив, но ему засела в голову мысль сделаться моряком. Если бы у него спросили, что такое моряк, то он не сумел бы порядком объяснить этого, так как ему было только десять лет, когда мысль эта запала ему в голову, и вот по какому случаю.

У него был дядя, брат его матери, который с ранней молодости уехал в море на купеческом корабле и насмотрелся разных земель. Этот дядя жил на морском берегу в Трувилле; иногда он приходил повидаться с Дуси и рассказывал разные диковинки, может быть, не все, что он говорил, была правда, но Хромуша всему верил, так как ему очень нравились дядюшкины рассказы. Мало-помалу ему сильно захотелось попутешествовать по морю, хоть он никогда не видывал моря и даже не знал хорошенько, каково оно, это море.

А оно было, однако же, недалеко, и он очень легко мог бы сходить посмотреть на него, хромота не помешала бы ему. Но отцу его совсем не хотелось, чтоб сын его полюбил путешествия, да и было не в обычаях тогдашних крестьян уходить без нужды далеко от дома. Старшие братья ходили на ярмарки и на рынок, когда было нужно. В это время меньшие братья пасли коров, так что для Хромуши никогда не приходила очередь погулять, он заскучал оттого и начал задумываться. Когда он пас стадо, то вместо того, чтоб чем-нибудь забавляться, как, например, плести корзины из тростника или строить домики из земли да из прутиков, он смотрел, как бежали облака, особенно засматривался он на стаи перелетных птиц, отправлявшихся далеко за синее море или возвращавшихся обратно на родину.

– Вот счастливы-то, – думал он, – у них есть крылья, и они летят, куда хотят. Они могут видеть весь мир Божий и никогда не скучают.

Он так часто смотрел на птиц, что научился наконец распознавать их по полету, он изучал все сноворки птичьего полета, так, он знал, что грачи рассекают воздух стрелой, что скворцы летают плотными стаями, что хищные птицы парят в поднебесье, а дикие гуси тянутся, как нить, на равном расстоянии один от другого. Он бывал очень рад, когда прилетали из-за моря перелетные птицы, и часто пробовал бежать так же скоро, как они летали, но это был напрасный труд. Не успеет он пробежать десяти шагов, глядит – птицы уже улетели за целую лье и исчезли из вида.

Потому ли, что он был хром, или потому, что он от природы не был храбр, только Хромуша не уходил далеко от дома и не старался удовлетворить свою любознательность.

Раз как-то пришел дядюшка-моряк навестить своих родных, и Хромуша сказал, что ему хотелось бы, если позволит отец, уйти с дядей, чтобы взглянуть на море.

– Тебе-то уйти с дядей? – сказал со смехом отец Дуси. – Уж лучше молчи! Ты не умеешь ходить и всего трусишь. И не затевай никогда, зятюшка, брать его с собой, он хилый мальчуган и трусишка. Прошлый год он спрятался за дрова и пролежал там целый день, потому что увидел запачканного сажей трубочиста и вообразил, что это черт. К нам ходит шить горбатый портной, так он не может видеть его без крика. Да что! Чуть заворчит собака или корова посмотрит на него попристальней, даже если упадет яблоко, он уже улепетывает во все лопатки. Право, можно сказать, что он родился на свете с крыльями страха за спиной.

– Это пройдет, пройдет, – возразил дядя Локиль, так звали моряка, – у детей бывают за спиной крылья страха, а потом отрастут другие.

Эти слова очень удивили маленького Хромушу.

– У меня нет крыльев, – сказал он, – отец смеется надо мной; а может быть, они бы выросли у меня, если бы я сходил взглянуть на море.

– Так в таком случае у твоего дяди должны быть крылья, – проговорил отец Дуси. – Попроси, чтобы он показал их тебе.

– У меня есть крылья, когда надо, – отвечал моряк со скромным видом, – мои крылья – крылья мужества, когда надо лететь навстречу опасности.

Хромуше очень понравились эти слова, и он твердо запомнил их, но отец Дуси сбил похвальбу зятя.

– Я верю, – сказал он, – что у тебя есть эти крылья, когда дело идет об исполнении твоего долга, но когда ты приходишь домой, ты уже не похвалишься ими, потому что жена тебе подрезает их.

Отец Дуси сказал это потому, что жена Локиля ворочала всем домом, между тем как Дусет, напротив, была очень покорна своему мужу.

Она оттого и не одобряла затей Хромуши, что отец его не хотел слышать о них. Он говорил, что ремесло моряка и не по силам человеку, у которого одна нога слабее другой, он говорил также, что Хромуша, несмотря на то что здоров, никогда не будет настолько силен, чтобы рыть землю, и что его надо выучить ремеслу портного, так как ремесло это прибыльно в деревне.

Портной каждый год приходил проводить Дуси. Раз, когда он пришел, отец Дуси сказал ему:

– Друг мой, Тяни-влево, – портного так прозвали потому, что он был левша, – нынешний год у нас нет для тебя работы, но вот мальчуган, которому очень хочется выучиться твоему ремеслу. Я тебе заплачу кое-что за его ученье, если только ты будешь рассудителен и удовлетворишься тем, что я тебе назначу. Через год он будет в состоянии помогать тебе, будет исполнять твои поручения, будет, наконец, прислуживать тебе и зарабатывать таким образом свое пропитание.

– А что же ты мне заплатишь за его ученье? – спросил портной, взглянув на Хромушу искося, с видом пренебрежения, как бы затем, чтобы заранее сбавить цену товара.

Пока крестьянин и портной договаривались об условиях и не сходились в двух ливрах, Хромуша, ошеломленный новостью, – у него никогда не было ни малейшего желания ни кроить, ни шить, – пытался сохранить хладнокровие и хорошенько рассмотреть хозяина, которому его предлагали. Это был низенький человечек, за каждым плечом у него было по горбу, он косил обоими глазами и хромал на обе ноги. Если бы можно было расправить его и растянуть на столе, то он оказался бы довольно высокого роста, но он был так исковеркан и, так сказать, плохо свинчен, что когда ходил, то был не выше самого Хромуши, которому было тогда двенадцать лет и который был не слишком высок для своего возраста. Тяни-влево было на вид уже лет пятьдесят. Его лысая, непомерно длинная голова, с лицом, обтянутым желтой кожей, походила на огромный огурец. Он был одет в нищенские лохмотья, оставшиеся за негодностью без употребления, когда он перешивал одежду своих заказчиков и которые выбросили бы их в навозную яму, если бы он вовремя не попросил; но всего чудовищнее в нем были руки и ноги, чрезвычайно длинные и очень проворные; ничего, что руки его были похожи на два веретена, а ноги на ходули – он ходил и работал еще попроворнее других. Глаз едва успевал следить за его толстой иглой, сверкавшей в его руках с быстротой молнии, когда он шил, и за облаком пыли, которое он подымал по дороге, когда бежал.

Хромуша не раз уже видал Тяни-влево и всегда находил, что он очень безобразен; но в этот день он показался ему просто страшным, таким страшным, что он непременно убежал бы куда-нибудь, если бы не вспомнил, что у него за спиной крылья страха, за которые упрекал его отец.

Сторговавшись, Дуси и портной ударили по рукам и распили, чокаясь, полжбана сидра, а Дусет, узнав, что дело кончено, пошла, не говоря ни слова, в соседнюю комнату связывать в узелок поклажу бедного мальчугана, которого портной должен был увести от нее на три года.

До сих пор Хромуша мало думал о том, что его ожидает в будущем. Слышал он и прежде, как отец его говорил, что надо его выучить какому-нибудь ручному ремеслу, потому что он хром, но он никак не воображал, что его отдадут в ученье так скоро, да еще и против его желания. Сказать отцу, что он не хочет быть портным, оказать сопротивление, не приходило ему в голову, так как он был кроток и покорен; сначала он было подумал, что не решат дела без его согласия, но, когда увидел, что мать его ушла из комнаты, не взглянув на него, точно боялась

расплакаться перед ним, он понял свое несчастье и бросился за ней с тем, чтобы просить ее заступиться за него.

Но он не успел. Портной протянул ему руку и сцапал его, как паук цапает муху; затем посадил его верхом себе на горб, схватил крепко за ноги и, встав, сказал отцу Дуси:

– Ладно, дело кончено. Пусть мать наплачется вволю; она меньше станет плакать, когда не будет видеть его. Она еще с час будет собирать его пожитки, ты пришлешь мне его узелок в Див, я проживу там три дня. Да ну, молчи же, мальчуган, не кричи, а не то – видишь большие ножницы, что у меня за поясом – я отрежу тебе язык.

– Будь с ним поласковее, – сказал отец, – он не злой мальчик и будет тебя слушаться.

– Уж ладно, ладно, – возразил портной, – не беспокойся о нем, я знаю, как взяться за дело. Пора идти, не нежничай, а не то я откажусь от него.

– Да дай же хоть обнять-то его, – сказал отец Дуси, – ведь он уходит...

– Э! Да ты опять его увидишь, он придет вместе со мной работать к вам. Прощай, прощай, пожалуйста, без сцен, без слез, а не то я оставлю его. Не очень-то дорожу твоей платой.

При последних словах портной перешагнул за порог и пустился бежать мимо яблонь с Хромушей на горбу. Ребенок хотел было закричать, но у него стеснило дыхание и зубы его застучали от страха. Он обернулся и с отчаянием взглянул на родительский дом. Его не столько огорчало то, что портной уводил его и не дал ему проститься хорошенько с родителями, сколько эта жестокость: она была непонятна ему. Мать Хромуши между тем выбежала за дверь и протянула к нему руки. Хромуше, несмотря на душившие его рыдания, удалось вскрикнуть: «Мама!» Она сделала несколько шагов вперед, словно хотела догнать его, но отец остановил ее, и она упала, бледная как смерть, на руки к старшему сыну своему, Франсуа, тот с горя выбранил портного и погрозил ему кулаком. Тяни-влево только захохотал на эту угрозу ужасным смехом, похожим на скрип пилы по камню, и зашагал еще проворнее своими гигантскими, чудовищными шагами, за которыми никто не мог поспеть.

Хромуша вообразил, что мать его умерла, и, видя, что ему нет спасенья, захотел также умереть, опустил голову на уродливое плечо портного и лишился чувств.

Ноша показалась тяжела портному; он подумал, что Хромуша уснул, снял его с плеч и посадил на своего осла, которого оставил пастись на лугу и который был так же мал, безобразен и хром, как и хозяин его. Он дал ослу хорошего пинка, тот зашагал по дороге и, прошагав три лье, остановился только у холмов, называемых дюнами.

Здесь портной прилег отдохнуть, нисколько не заботясь о том, спит ли мальчик или болен. Хромуша, открыв глаза, подумал, что он один, и посмотрел вокруг, не понимая, где находится; это было странное место, какого он никогда еще не видел. Он был точно в яме, в небольшой ложине, поросшей густым и жестким дерном, который рос клочьями по остроко-нечным верхушкам поднимавшихся кругом холмов. Хромуша очутился в расщелине больших холмов серого мергеля, которые, местами разрываясь, тянутся между городами Вилье и Безен-валь по берегу моря и скрывают его от глаз, когда идешь посреди них.

Когда прошла первая минута удивления, Хромуша припомнил, что портной унес его из дома, и сердце его сжалось при этом воспоминании; но вдруг он подпрыгнул от радости: он вообразил, что похититель бросил его, и решил, что, поискав немножко дорогу, ему удастся добраться до дому.

Задумано – сделано. Хромуша встал и уже сделал несколько шагов по лежавшей перед ним довольно широкой тропинке, как вдруг остановился, весь похолодев от ужаса: в двух шагах от него, растянувшись на траве, лежал портной; он спал одним глазом, а другим следил за всеми движениями мальчика. Немного подальше осел щипал траву.

Хромуша тотчас же прилег снова и ни гугу, хоть сердце у него сильно билось. Вдруг он услышал вблизи звуки, похожие на карканье ворона. Он обернулся и увидел, что портной преспокойно себе спит и храпит с открытым глазом. Он всегда так спал: один глаз у него был

кривой и никогда не закрывался; но и так он спал крепко. Портной очень умаялся, потому что было жарко.

Хромуша, несмотря на ужас, который внушал ему этот гадкий, глядевший на него глаз, подполз на коленях к портному и провел перед открытым глазом рукой, глаз не мигнул: он ничего не видел. Тогда ребенок, все ползком, выбрался по тропинке из лощины и очутился в другой, более обширной лощине, по которой также шла дорога.

Хромуша сбросил с ног деревянные башмаки, чтоб было легче бежать, и пустился со всех ног по траве в сторону от тропинки: взбежав на холм во весь дух, он проворно, как заяц, побежал вниз в кустарник, который скрывал его с головой, и, прячась за ним, крался в гуще ветвей и диких растений. Долго бежал он так; потом вдруг вспомнил, что если портной ищет его, то, увидев, как колышется высокая трава и ветви, пожалуй найдет его; он остановился, забрался в самую чащу и притаился там, удерживая дыхание.

Побег удался ему как нельзя лучше. Тяни-влево долго проспал, проснувшись и увидев на траве деревянные башмаки, он понял, что пленник его убежал; он не стал поднимать башмаки и преспокойно пошел, посмеиваясь себе под нос, по дороге в Див, где рассчитывал провести ночь. На тропинке видны были следы голых ног.

«Этот дурень, мальчишка, – думал портной, – вообразил, что побежал к дому, а того не знает, что дом-то остался у него за спиной; я догоню его в четыре шага». И, погоняя перед собой палкой осла, портной зашагал вдоль по дороге своими длинными кривыми ногами, похожими на две косы и проворными, как крылья. Но благодаря счастливой мысли ребенка повернуть в противоположную сторону, чем дальше шагал портной, тем больше удалялся от него.

II

Было уже темно, когда Хромуша успокоился настолько, что решился, наконец, выйти из своего убежища. Была прелестная, тихая и безлунная весенняя ночь. Не трогаясь еще с места, Хромуша стал прислушиваться, и его очень испугал какой-то странный шум. Он вообразил, что это скрипит песок под ногами ужасного портного; потом – так как шум этот по временам походил на шум, производимый материей, когда ее рвут – мальчик опять-таки подумал, что это портной рвет материю, собираясь кроить ее своими страшными ножницами. Шум, однако же, постоянно повторялся, однозвучный и мерный. Это были всплески морских волн, разбиравшихся о берег. Хромуша никогда не слышал шума волн, ему захотелось посмотреть, что это такое шумит; он высунул голову из-за куста и, осмотревшись, насколько было возможно в темноте, убедился, что, кроме него, не было никого в этой пустыне. Это была непонятная для него местность. Перед ним был длинный полукруг холмов, но он не мог рассмотреть их изгибов и выступов; они казались ему огромной стеной, полуобратившейся куда-то в пустое пространство. Это пустое пространство было море, но мальчик не имел никакого понятия о море. Ночной сумрак скрывал от него горизонт, так что он не мог различить черты, где кончается море и начинается небо, и только удивлялся, глядя на звездочки, блестевшие в вышине, и на странные огоньки, отражавшиеся внизу. Может быть, это были молнии? Но в таком случае как же они сверкали внизу? Мудрено было понять такие чудеса Хромуше, отроду не выдававшему ни настоящей реки, ни даже небольшой горы. Он ступил несколько шагов в высокой траве, не смея сойти пониже; ему было страшно, и он был голоден.

– Поищу-ка я, – подумал он, – местечко, где бы можно было прилечь да уснуть, а рано поутру завтра стану спрашивать, как мне пройти домой; приду домой и узнаю, умерла ли моя мама или нет.

Он заплакал при этой мысли, но тут же вспомнил, как сам лежал в обмороке на спине у портного, и стал надеяться, что мама его оживет.

Он не решался лечь где ни попало, боясь, чтоб его не застал врасплох его ужасный хозяин; Хромуша все еще думал, что портной отыскивает его, и первым его делом было отойти подальше от дороги. Он стал осторожно спускаться вниз, но вскоре увидел, что это труднее, чем он думал. Почва холма была неровная, вся в расщелинах и буграх, как кора каштанового дерева. Мальчик хватался за выдававшиеся бугры, но они осыпались у него под рукой. Местами попадались большие ямы, поросшие травой и колючими растениями; он боялся упасть в них, и в самом деле он свалился в две или три ямы; на дне их была даже вода, только, к счастью, они были неглубоки. Темнота, одиночество и опасный, непривычный для жителя равнины путь, который был для бедного мальчугана тем еще труден, что он хромал, навели уныние на него. Уныние перешло в ужас. Он уже отложил мысль спуститься с холма и попробовал взобраться наверх. Но оказалось еще хуже. В тех местах, где солнце осушило почву и где росла густая трава, склон этой мнимой скалы был так скользок, что нога не находила опоры, мергель осыпался большими кусками, крупные камни валялись, точно с неба. Ребенок выбился из сил и вообразил, что погиб, а тут еще на беду пришли ему на память и волки.

В отчаянии он бросился на густой мох и постарался заснуть, чтоб не чувствовать голода. Ему приснилось, что он катится с холма; вдруг что-то пробежало по нему, может быть, лисица, а может, и заяц, бедняга до того перепугался, что вскочил и, не помня себя от страха, бросился бежать куда глаза глядят, рискуя попасть в яму с водой и утонуть в ней. Он был уже не в состоянии рассуждать и не распознавал предметов, которые видел днем. Он бежал из одной лощины в другую. Ему чудилось уже, что он не бежит, а летит над землей, высокие гребни холмов казались ему великанами, которые смотрят на него, покачивая головами, всякий куст принимал он за притаившегося зверя, готового броситься на него. Ему приходили в голову разные нелепые фантазии. Раз как-то дядя его, моряк, сказал:

– Когда человек отдастся духам моря, то духи земли не влюбят его.

Хромуша теперь припомнил эти символические слова, и они звучали в ушах его какой-то угрозой.

– Я слишком много думал о море, за это земля теперь ненавидит меня и не хочет носить, – размышлял он, – она расступается и проваливается везде под моими ногами; она встает передо мной буграми, которые осыпаются и хотят задавить меня. Я пропал! Я не знаю, где море, а может быть, оно было бы подорожнее для меня; я не знаю, в какой стороне наша деревня и найду ли когда наш дом. Может быть, земля так же рассердилась на отца моего и на мать мою и их уж нет на свете.

Вдруг он услышал над своей головой странные звуки. Множество тихих, жалобных голосов как будто призывали на помощь; это были не птичьи голоса – нет, то были голоса маленьких детей, такие кроткие и грустные, что Хромушей еще сильнее овладели тоска и уныние.

– Сюда, сюда, маленькие духи! – вскричал он. – Прилетите ко мне, поплачьте со мной или унесите меня, чтоб я мог плакать с вами; по крайней мере, вы горюете все вместе, а мне и поплакать-то не с кем!

Но тихие голоса неслись все мимо, мимо над Хромушей, не обращая на него внимания, хотя и его голос присоединился к общему хору. Прошло с четверть часа, а голосов было такое множество, что они все еще раздавались, мало-помалу они стали слышаться реже. Хор удалялся. Одиноко звучали уже только отставшие, они молили с выражением глубокой тоски, чтоб их подождали. Хромуша бежал за голосами, стараясь догнать их. Но вот прозвучал и последний. Мальчиком овладело снова отчаяние. Невидимые товарищи несчастья как будто облегчили его скорбь, а теперь он опять остался один-одинешенек посреди пустыни.

– Духи ночи, может быть, духи моря, сжальтесь надо мной, унесите меня! – закричал он.

В ту же минуту он сильно размахнул руками, как бы желая расправить крылья; в самом ли деле у него выросли крылья, так как он сильно желал иметь их, или все это было лихорадочным бредом, только он почувствовал, что отдаляется от земли и летит в ту сторону, куда полетели

и странствующие духи. Несясь по сероватому воздушному пространству, он как будто ясно различал маленькие черные стрелы, летевшие впереди него; но они скоро исчезли, перед ним был только туман, и он напрасно кричал, чтоб его подождали. Голоса все еще звучали жалобным хором, но они летели быстрее его и замирали в облаках. Тогда Хромуша почувствовал, что устал, крылья отказывались служить ему, и он стал тихо, но безостановочно опускаться все ниже и ниже к подошве холма. Лишь только ступил он на землю, как замахал руками. Он все еще воображал, что это не руки, а крылья и что он может опять взлететь на воздух, когда отдохнет. Впрочем, ему некогда было долго раздумывать о том, руки ли у него или крылья: то, что он увидел, так сильно заняло его, что он почти забыл о себе.

Было темно, но не настолько, чтоб нельзя было различать не слишком отдаленные предметы.

Хромуша сидел на мелком мягком песке, посреди больших беловатых шарообразных масс, которые он принял сначала за покрытые цветом яблони. Но всмотревшись попристальнее и дотронувшись до них, он распознал, что это были большие скалы, похожие на те, которые он видел наверху и которые, может быть, много-много лет тому назад скатились на морской берег.

Берег здесь был славный, чистый, потому что в этом месте море, поднимавшееся ежедневно до подошвы дюны, смывало своими волнами всю грязь, которая падала с мергелевых холмов. Тысячи ручейков пресной воды струились с высоты и, разбегаясь по песку в разные стороны, тихо, беззвучно сливались с морем. Вода еще не достигала всей высоты прилива. Хромуша слышал плеск приближающихся волн, но перед ним не было еще ничего, кроме длинной беловатой песчаной полосы, по которой было разбросано множество черных глыб; они были различной величины и все более или менее округлены. Хромуша не боялся более, он смотрел на эти неподвижные массы с изумлением; они очень походили на стадо больших, спящих зверей; ему захотелось поближе рассмотреть их, он подошел к одной и дотронулся до нее. Это была скала, похожая на ту, у подошвы которой он опустился.

Но отчего же эта скала была черная, тогда как там, выше, на берегу скалы белые? Он опять дотронулся до скалы, и ему попало в руку что-то похожее на огромную кисть черного винограда. Он был голоден и поднес ее ко рту. То были твердые раковины, но у Хромуши были острые зубы; он прокусил раковину, затем открыл ее ножом, бывшим у него в кармане, и принялся есть заключенных в них животных, одно за другим; они были очень вкусны, и их было здесь множество. Все белые камни, скатившиеся сверху, были покрыты ими, оттого-то и казались черными.

Наевшись досыта, он приободрился и стал рассудительнее. Он теперь уже не верил, что у него были крылья и что он летал в облаках, а подумал, что просто скатился с холма на берег.

Тогда он влез на одну из высоких черных скал и стал осматривать окрестность. Он опять увидел бледные длинные полосы света, похожие на молнии, которые видел прежде. Они сверкали будто по самой земле. Что бы это такое было? Хромуша вспомнил, как дядя его говорил, что вода в море ночью блестит, как белый огонь, и догадался, наконец, что перед ним море. Волны были совсем уже близко, они приближались к скалам, но так медленно, с таким однообразным, мерным шумом, что ребенок не видел, как они подвигались, и преспокойно остался на скале. Он смотрел, как они плескались вокруг, то подступали к скалам, то отскакивали назад, набегали на берег и разливались по нему с глухим рокотом, не лишенным своеобразной гармонии и навевающим сон на мало-мальски утомленного человека.

Было около десяти часов, а Хромуша обыкновенно ложился спать гораздо раньше. Конечно, скала, покрытая раковинами, была не слишком удобной постелью, но когда человек очень устал, то может заснуть, где ни попало. Несколько минут мальчик смотрел отяжелевшими глазами на тонкую серебристую пелену, тихо расстилавшуюся по песку, волны отхлынут, а пелена еще стелется, они унесут ее с собой, нахлынут снова, и пелена разольется еще дальше. Ничто не может быть ужаснее медленного, но коварного морского прилива.

Хромуша очень хорошо видел, что песчаная полоса становится все меньше да меньше и что мелкие волны играют уже у подошвы скалы, на которой он лежал.

Но ему так нравилась их белая пена, что они не внушали ему никакого опасения. Да, это было море. Наконец-то он увидел его! Оно было не очень велико, так как он видел вокруг себя только несколько беловатых сверкающих полос; далее поверхность моря сливалась с ночной темнотой. Море было совсем незлое, ведь оно, конечно, знало, что Хромуша всегда рвался к нему. Море непременно было умное и рассудительное, так как дядюшка-моряк, рассказывая о своих морских похождениях, отзывался о нем с уважением, как о какой-нибудь важной особе. Хромуше пришло в голову, что он еще не поклонился морю и что это невежливо. Полусонный, он почтительно снял с головы отяжелевшей рукой шерстяную шапку и поклонился морю, затем опустил голову на протянутую левую руку и крепко заснул, все еще держа в правой руке шапку.

III

Часа через два его разбудил какой-то странный шум. Волны так сильно бились о скалу, на которой он спал, что она, казалось, дрожала, да и скалы-то почти не было видно.

Белая пена окружала ее широкой каймой. Прилив был высок. Ребенок не понимал, что такое творилось вокруг него. Он хотел было убежать в ту сторону, с которой влез на скалу, но везде была вода, так что под ней исчезли даже все черные скалы. Волны доходили до подошвы белых скал и, казалось, хотели подняться еще выше. Хромуша опустил ноги в воду, чтобы узнать, глубоко ли. Он не достал до дна, но почувствовал, что если соскользнет со скалы, то волны унесут его. Тогда он подумал, что теперь уже непременно погибнет, вспомнил о матери и закрыл глаза, чтобы, по крайней мере не видеть, как будет умирать.

Вдруг он услышал над головой те же самые детские голоса, которые слышал на холме, и приободрился. Ведь он уже летал, отчего же не полетать ему еще? Он закричал, стараясь подражать голосам невидимых духов, и вдруг услышал, что они парят над ним, точно призывают и ждут его. Он снова сильно размахнул руками, которые, вероятно, обратились в крылья, так как он поднялся на воздух. Но на этот раз он полетел не под облака, а понесся над морем. Он летал туда и обратно, касаясь крыльями волн, возвращался отдыхать на скалу, снова взмахивал крыльями, опять улетал, плавал и чувствовал необыкновенное удовольствие. Морская вода казалась ему теплой; он держался в ней очень легко и свободно, как будто был отличным пловцом. Ему захотелось заглянуть в морскую глубину, он сложил крылья и погрузил голову в воду. Вода была вся из белого огня, но не горела. Наконец он устал, возвратился на скалу и снова крепко заснул, убаюканный мелодическим плеском волн и тихими голосами духов, которые еще звучали как голоса маленьких детей в воздушном пространстве.

Когда он проснулся, солнце вставало в серебряном тумане, который широкими полосами уходил за горизонт. Свежий ветер рябил зеленоватую поверхность моря, а там на восточной стороне в нем отражались широкие сверкающие розовые и лиловые полосы; туман быстро рассеялся на горизонте, и Хромуша с высокой скалы, на которой спал ночью, увидел все морское пространство. Море сегодня было более спокойно, нежели накануне, и ушло гораздо дальше. Мальчику захотелось рассмотреть его поближе при дневном свете. Он слез со скалы и побежал по песку, не боясь замочить ноги в больших лужах, оставленных морским приливом, напротив, он был даже очень рад, когда забрался по колено в воду. Он набрал множество разнообразных раковин, все они были очень красивы; затем он возвратился к подошве холма, здесь струилось несколько ручейков – Хромуша напился. Вода была сладковата, но все же не такого едкого отвратительного вкуса, как морская, которой он уже было попробовал. Мальчик был так доволен, что видел, наконец, это чудное море, о котором прежде так много мечтал, что ему не хотелось возвращаться домой. Он почти забыл все, что случилось с ним накануне. Он ходил по берегу, на все смотрел, до всего дотрагивался и старался разъяснить себе все, что было у

него перед глазами. Вдали плыли барки, он увидел на них людей и паруса, надутые ветром, и в первый раз стало ему понятно значение лодки. Он даже увидел вдали на горизонте корабль и вообразил было, что это церковь. Но эта диковинка плыла так, как и барки, и у Хромуши сильно забилося сердце. «Что, – подумал Хромуша, – это корабль или плавающий дом?» На таком корабле путешествовал и его дядя. Мальчику захотелось также попасть на корабль и посмотреть, где кончается море, там, за сероватой линией горизонта, отделяющей его от неба.

Он совсем уже было забыл о портном, как вдруг увидел вдали, на берегу какого-то чело- века, который шел в его сторону. Хромуша испугался сначала, но очень скоро успокоился, увидев, что человек этот был вовсе не урод, как портной, но такой же, как и все люди; ему даже показалось, что это был его старший брат Франсуа, погрозивший накануне портному кулаком; Франсуа терпеть не мог портного и очень любил своего маленького братишку Хромушу.

В самом деле, это был он – Франсуа. Хромуша побежал навстречу ему и бросился в его объятия.

– Откуда ты взялся? – вскричал Франсуа, обняв его. – Теперь только семь часов, а ты не из Дива. Где ты ночевал?

– Вот там, на этом большом черном камне, – отвечал Хромуша.

– Как! На Большой Корове?

– Это не корова, мой милый Франсуа, это настоящий камень.

– Э, да я и сам это знаю, а ты разве не знаешь, что эти большие камни называют Чер- ными Коровами? Но где же был ты во время морского прилива?

– Я не понимаю, о чем ты говоришь.

– Ведь морские волны доходят сюда, вот до этих камней, которые называют Белыми Коро- вами.

– Ах да, я видел, как они подходили сюда, но духи моря не дали мне утонуть.

– Не говори глупостей, Хромуша, морских духов нет. Вот про земных я не скажу...

– Земные это или морские духи, – живо перебил его Хромуша, – я не знаю, только я тебе говорю, что они помогли мне.

– Ты видел их?

– Нет, я слышал их. Видишь, я остался жив и здоров и даже славно спал, хотя со всех сторон вокруг меня была вода.

– Ну, так я тебе скажу, что ты очень счастливо отделался. Я знаю, что во время прилива, когда море тихо, только вот этот камень, Большая Корова, не покрывается водой; но если бы поднялся ветер, хоть и не очень сильный, вода покрыла бы камень и тебя не было бы уж на свете, мой бедный мальчик.

– Как бы не так! Я умею прекрасно плавать, нырять, летать над волнами. Это превесело.

– Полно, полно, не говори пустяков. Твое платье сухо; тебе было страшно, холодно, ты был голоден, а все-таки ты, по-видимому, совсем здоров. Поешь-ка хлеба, который вот я при- нес тебе, и выпей несколько глотков сидра из этого меха, а потом расскажи мне толком, как ты убежал от этой собаки – портного, так как я вижу, что ты улизнул из его когтей.

Хромуша рассказал все, что случилось с ним.

– Ну, – сказал Франсуа, – я очень рад, что он не успел еще помучить тебя, ведь он злой человек, я знаю, что он морил своих учеников голодом и колотил их без пощады. Наш отец не верит мне и убедил и матушку, что я зол на портного и лгу на него. Ты ведь знаешь, что она очень боится отца и всегда пляшет под его дудку. Вчера мать очень плакала и не ужинала, а сегодня поутру послушалась отца и перестала плакать; оба они теперь воображают, что ты перестал горевать, как и они, и что ты привык уже к твоему хозяину. Нет никакой возможности разубедить их. Если ты вернешься домой, отец тебя приберет и сам отведет сегодня же вечером в Див, где портной – он вечно там шляется по чужим домам, не имея настоящего пристанища. Мать не заступится за тебя, она будет только плакать. Послушай-ка лучше моего совета – иди в

Трувилль к дяде Лакилю, ты попросишь его, чтобы он определил тебя юнгой на какой-нибудь корабль, ты будешь доволен, так как всегда желал плавать по морю.

– Да меня не примут на корабль, – проговорил Хромуша уныло. – Отец говорит, что хромой не человек и ни на что не годится, как только в портные.

– Ты совсем не так сильно хромаешь, если мог пробегать всю ночь без башмаков по таким местам, как здешние, ведь их недаром называют пустынями. Разве у тебя болят ноги?

– Нисколько, – отвечал Хромуша, – только правая нога устала побольше левой.

– Это ничего, ты только не говори об этом у дяди. Делать-то тебе больше нечего. Если бы отец был здесь, он велел бы мне волей-неволей отвести тебя к портному и мне это было бы очень горько, так как я знаю, что ждет тебя у портного; но отец ничего не знает и, если ты хочешь, я провожу тебя в Трувилль. Это недалеко отсюда, и я успею еще до вечера вернуться домой.

– Так пойдем в Трувилль! – вскричал Хромуша. – Ах, мой милый Франсуа, ты спасаешь мне жизнь! Что ж! Если мама не захворала с тоски по мне, а отец и совсем не думает тосковать, так уж лучше мне уехать на корабле в море, море будет радо мне, оно было для меня таким добрым.

Через три часа они пришли в Трувилль, в те времена это была бедная деревня, населенная рыбаками.

Дядя Лакиль жил на самом берегу моря в собственном домике; у него была жена и семеро детей; все его имущество состояло из этого домика и большой лодки. Он обласкал Хромушу, похвалил его за то, что не хочет быть портным, выслушал с восторгом рассказ о том, как он провел ночь на Большой Корове, и с жаром уверял, что он самой судьбой назначен для самых чудных приключений. Он обещал начать с завтрашнего же дня хлопотать о том, чтобы мальчика приняли на какой-нибудь купеческий или военный корабль.

– Теперь иди домой, – сказал он, обращаясь к Франсуа, – я знаю, что отец Дуси упрям, а потому ты хорошо сделаешь, если не скажешь ему, что проводил мальчугана ко мне. Пусть он думает, что он у портного; знаю я этого морского рака, портного, он большой негодяй, скуп, трусит перед сильными и обижает слабых. Признаюсь, мне было бы очень обидно, если бы мой племянник попал в учение к такому скверному человеку. Иди с Богом, Франсуа, и будь спокоен. Я беру все на себя. Со временем отец и мать Хромуши еще будут гордиться им. Пусть пока думают, что он в Диве. Тяни-влево зайдет к вам, может быть, не раньше еще, как месяца через два или три. Когда отец твой узнает, что Хромуша улизнул, то мальчуган тогда будет уже плавать на корабле; если его там и будут когда кормить колотушками, так все же на корабле совсем другое дело. Моряки хорошие люди, так от моряка можно перенести побои, а уж терпеть побои от горбуна самое последнее дело, хуже этого позора и быть не может.

Франсуа и Хромуша нашли, что все это очень справедливо. Последнему даже не пришлось в голову, что можно поколотить кого-нибудь без всякой вины – ни за что ни про что. По его понятиям только портной мог быть способен на такую жестокость. Франсуа отправился домой. Уходя, он дал своему братишке узелочек с бельем, которое его матушка исправно перечинила, новые башмаки и немножко денег; он прибавил к ним две собственные большие красивые монеты в шесть ливров каждая и маленький кошелек с медными деньгами для того, чтобы Хромуше не пришлось без крайней нужды разменивать монеты; затем Франсуа поцеловал Хромушу в обе щеки и наказал, чтобы он хорошо вел себя.

Дядя Лакиль был очень добрый человек, очень восторженный, даже немножко легкомысленный, но кроткий, как большей частью бывают люди, которым пришлось много натерпеться горя на своем веку. Он много путешествовал и посмотрелся разных разностей, зато он давал волю своей фантазии, в особенности когда ему случалось выпить лишний стакан сидра. Тогда все ему казалось в преувеличенном виде, так что рассказы его не отличались строгой правдивостью. Хромуша слушал с жадностью и задавал ему тысячу вопросов. Когда подали ужин,

пришла тетушка Лакиль. Это была высокая сухощавая женщина в грязной поношенной юбке и в коленкоровом чепчике, какие носят крестьянки в той стороне. У ней росло на подбородке, пожалуй, еще больше волос, чем было их в бороде ее мужа, и по всему видно было, что он у ней под башмаком. Она не особенно ласково поздоровалась с Хромушей, муж поспешил объявить ей, что он у них только на время. Она подала Хромуше тарелку, нахмутив брови, и сказала за ужином, что у него такой же аппетит, как у морской свинки. На следующее утро Лакиль исполнил свое обещание. Он сводил Хромушу к нескольким судохозяевам, но те отказались принять мальчика на свои суда, потому что он хромал. На военные корабли также не приняли мальчугана. Бедняга Хромуша возвратился с дядей домой очень огорченный; Лакиль должен был сознаться жене, что план его не удался, потому что мальчик хромал и, кроме того, так как он вырос не на морском берегу, то казался на вид робким и мешковатым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.